

## Константин Паустовский Черное море

Придается все, лишь тебе не дано примелькаться...  
*Борис Пастернак*

Поздняя ночь. Море шумит за окном. Дует норд-вест. В старинной лоции, раскрытой на столе, красным карандашом подчеркнута строчка: «Ветры от норд-веста и веста всегда сопровождаются мрачной погодой и дождем».

Ночной дождь висит над Севастополем непроницаемым дымом.

У лоции — большие поля. Они сделаны для того, чтобы шкиперы и капитаны могли записывать наблюдения над огнями маяков, приметами на берегах, туманами и зимними бурями.

На полях своей лоции я записывал все, что видел и узнал у Черного моря.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням а бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибором. По словам престарелых пристанских сторожей, в этих бутылках всегда были заключены жгучие тайны. Они были написаны карандашом на листках, вырванных из судового журнала.

Я, как и мальчишки, давно не верю в это. Времена легкокрылых фрегатов и летучих голландцев прошли. Тайны умирают, как ночные мотыльки, обожженные огнем дуговых фонарей. Мое неверие в тайны так велико, что я даже начал сомневаться в существовании голубых огней святого Эльма, пылающих над мачтами кораблей, хотя об этом я читал еще в гимназии в «Физике» Краевича.

Но все-таки о бутылках я вспомнил недаром. Море подарило мне эти рассказы. Оно выбросило их к моему порогу, как выбрасывало когда-то бутылки вместе с солнечным блеском, красными водорослями и медузами.

Плавающий бакен-ревун кричит за Константиновским фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. Когда он тяжело подымается над волной, мокрый и разъяренный, он видит тонущие в беспокойной воде огни Севастополя. Тогда он мычит, как человек с завязанным ртом.

За окном ничего нет, кроме фонарей, сжимающихся в воде около крепостных утесов. Только встревоженная вода, стон ревуна и теплая осенняя ночь.

Я прислушиваюсь. Нет, не только они. Слышны тяжелые шаги по набережной и хриплый разговор рыбаков. Искры махорки прорезают плотную темноту.

Рядом со мной в комнате спит человек, — я слышу его дыхание и ласковые слова сквозь сон, — и вот книга о море, великих побережьях, о штилях и туманах наполняется людьми, смехом, спорами, борьбой и любовью. Только рядом с людьми приобретает смысл и значение все, что написано на дальнейших страницах.

Без людей нашего времени, полного побед и человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полете птиц, — ни во всем, что называется жизнью.

## НЕБЕСНАЯ АЗБУКА МОРЗЕ

*Ураганам предшествуют мертвые штили и теплота.  
Довэ, «Законы шторма»*

Вода звенела, как бы падая в медный таз с головокружительной высоты.

Этот звук будил Гарта. Он вызывал представление о солнечных зайчиках и безоблачном небе.

Гарт поворачивал голову к окну, и предчувствие сбывалось: безветрие и бледная осень

стояли над городом.

Город был похож на театральный макет, где с домов осыпалась позолота и только редкие ее пятна остались на розовой штукатурке оград.

Город был полон осеннего сверкания. По утрам оно качалось над бухтами голубым серебрившимся дымом. В полдень оно подымалось к зениту желтым огнем, а вечером, окрашенное золотом облаков, оно долго боролось с блеском сигнальных фонарей, зажженных на рейде.

Гарт бежал в Севастополь от промозглой московской осени. Он с содроганием вспоминал черные тучи, волокущие по крышам свое мокрое тряпье, и сумрачные залы библиотек.

Все это осталось позади.

Гарт был писателем. У своей фамилии Гартенберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах.

Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии. Все они, казалось, появились из тех легендарных времен, когда над морями стояла вечная жара, вражеские линейные корабли, сходясь к бою, приветствовали друг друга криками «ура» и пираты, шатаясь по океанам, веселились как черти.

Если принять во внимание, что Гарт жил в Советском Союзе, то не только содержание его рассказов, но и внешность этого писателя не могла не вызвать недоумения.

Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у английского священника. Только порыжевшие швы и заплатки говорили о тягостных днях одиночества и нищеты.

Жизнь Гарта была бесконечно печальной и горестной жизнью бродяги и отщепенца.

Как ребенок зажимает в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, или серебряную бумажку от конфеты, так Гарт прятал в себе веселый мир выдумок о несуществующей жизни. Ему казалось, что все вокруг враждебно этому миру. Чем насмешливее смотрели окружающие на выдумки Гарта, тем с большей, почти болезненной, любовью он охранял их от любопытства людей.

Гарт был тем, что принято называть «живым анахронизмом». Он выпал из своего времени. Внятный внутренний голос говорил, что пора просыпаться от пестрых снов, что пересоздание мира требует жертв и борьбы, но Гарт отмахивался от этого голоса, как спящий от настойчивого зова.

Гарт не понимал, что революция даст жизни веселое цветение и мудрость, о которых он так тосковал.

Гарт устал от прошлого, плохо сознавал настоящее, и, наконец, он не хотел ждать. Поэтому такая простая мысль никогда не приходила ему в голову.

Много времени спустя люди, близко наблюдавшие Гарта, начинали понимать доброту и талантливость этого заброшенного человека.

Первыми это поняли городские мальчишки. Сначала они преследовали Гарта свистом и кличкой «Недоверчивый». Но однажды Гарт остановился на улице около мальчишки со сломанным луком. С высоты своего роста Гарт нерешительно смотрел на слезы, размазанные по худым детским щекам.

Потом он взял мальчишку за плечо и повел в магазин «Динамо». Там он купил ему индейский лук из красного дерева с резиновой тетивой.

Весь тот день стрелы с куриными перьями на хвостах жужжали в желтом от известняка переулке. Ходить по переулку становилось опасно. Гарт нажил жестоких врагов — пронзительных хозяек с узлами бесцветных волос на затылке, проклинавших стрелы, мальчишку и писателя.

Ничто не распространяется так быстро среди детей, как слух о взрослом покровителе детских игр. Тогда дерзкие мысли о скучном характере родителей охватывают племя ребят.

Гарт был признан мальчишками своим негласным советником от Хрустальной бухты

до Корабельной стороны и от Черной речки до Аполлоновой балки. Пожалуй, это событие было его первым столкновением с настоящей жизнью.

Несколько дней после этого он сидел в сухом саду и мастерил индейские луки для жадных и беспокойных ребят. Худые осы садились на тетиву и дрожали вместе с ней, разглядывая сутулую спину Гарта.

Гарт улыбался одними морщинами, сбегавшимися около воспаленных от чтения глаз.

В первые дни севастопольской жизни Гарт изучал топографию города.

Его радовала изорванность утесистых берегов, путаница глубоких бухт и повороты выветренных лестниц. Он подолгу рассматривал каменистые дворы, полные кошек, сухой листы, платанов и голубоватых рыбацких сетей. Его поражал причудливый план города, спрятанного в синий шар неба и моря.

Потом у себя в комнате Гарт рисовал карты выдуманных им приморских городов – Саванны и Кастля – и отмечал места, где должны были произойти события из еще не написанных рассказов.

Вода звенела, как бы падая в таз с головокружительной высоты, и разбудила Гарта. Это мылся за стеной его квартирный хозяин – веселый и вспыльчивый старик Юнге.

В каждом городе есть свои чудачки и сумасшедшие. Юнге считался севастопольским чудачком. Он заведовал службой погоды в порту. Старик гордился своей профессией. Он любил повторять, что дело метеоролога заключается в том, чтобы растолковывать дуракам простой язык природы.

Гарт был рад, что поселился у этого шумного человека, дружившего с облаками и циклонами. Знание этих вещей было необходимо Гарту как писателю. А от старика можно было много узнать.

У Юнге была дочь Зоя – комсомолка и планеристка.

Гарт ни разу ее не видел. Зоя почти все время жила в Коктебеле, где в тот год в сентябре шли, как обычно, планерные состязания.

Старик, уходя из дому, оставлял Гарту ключ от своей библиотеки.

Сегодня, как уже несколько дней подряд, Гарт погрузился в рваное кожаное кресло времен Севастопольской обороны. Он читал, засыпал, просыпался и снова перечитывал книги. Пыль роилась в солнечном луче.

Гарт много курил. Сухой дым подымался к потолку, завиваясь медленными кольцами. Так движется над материками антициклон.

Перелистывая метеорологические справочники, Гарт узнал о существовании грозового экватора и путях ураганов, о белых радугах и запахе юго-восточных ветров.

Сегодня Гарту повезло. В одной из книг он нашел пожелтевшее английское письмо, помеченное 1854 годом и неизвестно как попавшее к Юнге. Гарт с трудом перевел его. Язык письма был изыскан, но вместе с тем сдобрен хорошей дозой морского жаргона – того крепкого, как плевки, и безошибочного «сленга», каким изъясняются английские матросы и бродяги.

С упорством исследователя Гарт восстановил не только содержание письма, но и его историю. Письмо принадлежало офицеру английского флота Джона Элиоту. Оно было написано в Балаклаве, где стояла в 1854 году, во время Севастопольской кампании, английская эскадра.

*«В августе 1831 года, как, вам известно, великий ураган, разразившийся в Вест-Индии, захватил своим крылом и Европу. Горячий воздух вторгся в наши широты. На берегах Средиземного и Черного морей наступила резкая жара, закончившаяся ливнями и тяжелыми штормами.*

*Мне повезло, если можно так выразиться, быть в то время на острове Барбадосе, где стоял наш фрегат «Стирлинг Кастль».*

*Этот цветущий остров лежит в начале пути вест-индийских ураганов и потому*

испытывает их наиболее сокрушительную ярость.

В связи с пережитым ураганом я имею сделать вам несколько замечаний. Быть может, они рассеют покров ужаса и таинственности, который окружает в представлении людей гремящие и стремительные перемещения обширных воздушных масс.

Одиннадцатого августа, в полночь, ветер в Барбадосе усилился до степени шторма. Молнии блистали непрерывно со всех румбов горизонта. Гром сотрясал океан до самого дна.

Мы стали на мертвые якоря и приготовились встретить ураган. Он зарождался вблизи, в пучине неопишимо страшной и душной ночи.

Мы помнили печальную судьбу эскадры достоправного адмирала Роднея. Она погибла от урагана у берегов Ямайки. Лучшие корабли — «Скарборо», «Барбадос» и «Феникс» разбились о скалы, а фрегат «Генри» был выброшен на берег в бухте Монтегю. До сих пор он служит дырявым жилищем для негров и приморского люда.

В два часа ночи шторм перешел в ураган. К тому времени мне с большим трудом удалось съехать на берег, где я получил приют в доме престарелого полковника Нокса.

Гул ветра так изнурял наши нервы, что мы вынуждены были укрыться в каменном погребе, где полковник хранил вино и провиант. Едва мы сели за деревянный стол и зажгли свечи, как прибежал испуганный слуга и доложил, что верхняя часть дома обрушилась от ветра. Мы не слышали грохота обвала.

Из этого вы можете сделать заключение о чудовищном реве бури в эту ночь.

Я выбежал на улицу, но вынужден был лечь и крепко держаться за каменную тумбу.

Я видел в те минуты, когда мне удавалось открыть глаза, величественное зрелище падения многих метеоров. Я не забуду этого во всю жизнь, или я буду проклят до самой могилы.

Метеоры летели не наискось, как это бывает всегда, а низвергались отвесно, пылая темно-красным мутным огнем. Вблизи земли они загорались белым светом, похожим на горение магния. Метеоры имели цилиндрическую форму. Они были похожи на круглое стекло, каким жители Антильских островов прикрывают от ветра пламя свечей.

Временами рев ветра стихал и переходил в глухое мычание. Я пользовался этим, чтобы осмотреться. Мне это вполне удавалось, так как блистание молний продолжалось иногда по полминуты и дольше.

Мои попытки осмотреться вызывали в душе леденящий ужас. То, что открывалось моему взору в свете молний, было почти непостижимо.

Я видел, как качались от ветра стены домов, как летели, подобно осенним листьям, кровли и падали каменные ограды.

Но самым ужасным было зрелище садов. Ураган сорвал с них листву, и деревья яростно свистели голыми ветвями, как у нас, в Шотландии, в студеную зиму.

Океан бил в берега с такой силой, что земля дрожала на большом расстоянии от полосы прибоя. Волны перелетали через утес в семьдесят футов высотой. Ветер уносил ливень соленых брызг внутрь страны на много миль.

Это, между прочим, причинило большие неприятности майору Лекоку. У него в Брайхт-холле, в его поместье, были славные пресные пруды с прекрасными подводными растениями и королевскими сазанами. Ветер принес в эти пруды столько воды из океана, что пруды засолились и рыба в них уснула.

Воздух во время урагана так густо насытился электричеством, что я был свидетелем, как у негра, привратника Кодрингтонской коллегии, искры сыпались из волос, будто из трубы паровой машины.

«Стирлинг Кастль» погиб. Его сорвало с якорей и разбило о мыс, носящий название «Каменная шкатулка».

Многие из жителей города, боясь оставаться в разрушающихся домах, добежали до крепостных фортов и спрятались под тяжелыми пушками, укрепленными на колесных станках. Ветер сдвинул пушки с места и проволочил их на большое расстояние. Было искалечено много людей.

*Страдали не только люди. После урагана берега острова покрылись множеством убитых и полумертвых морских птиц и рыб.*

*Тем, кто находился вдали от этой мучительной картины, невозможно составить себе представление о жестоких страданиях жителей Барбадоса.*

*Я хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что при первом ударе урагана в домах с треском полетели внутрь все оконные рамы.*

*Объяснить это явление нетрудно. Всякий ветер, а тем более ураган, бывает вызван неравномерным нагреванием воздуха в разных областях земли.*

*Разогревшийся воздух жидок. Он образует пустоту. В нее яростно устремляются со всех сторон потоки более холодного, плотного воздуха.*

*Равновесие воздушных масс нарушается. Происходит великое возмущение атмосферы и стремительные ее перемещения.*

*Очевидно, ураган, обрушившийся на Барбадос, нес плотный воздух, тогда как в домах сохранился еще разреженный воздух, стоявший над островом перед ураганом.*

*Воздух урагана молниеносно всосался в дома и выдавил рамы и двери, как газ выдавливает пробки из бутылок французского шипучего вина.*

*Нет надобности объяснять даже школьникам, что ветры не могут дуть одновременно на пространстве всего земного шара.*

*Всегда существует граница между областью, охваченной ветром, и областью, где ветер отсутствует или дует ветер противоположного направления. Сходясь, эти бурные воздушные реки вызывают взаимное трение, и в этом месте образуются вихри или воздушные водовороты.*

*Быстро усиливаясь и подчиняясь законам, впервые указанным ученым Довэ и нашим соотечественником, господином Ридом, эти вихри превращаются в ураганы и тифоны. Они мчатся с ужасающей силой над океанами и материками, сметая все на своем пути.*

*Чрезвычайно любопытно, что ураганы под влиянием вращения Земли примерно на половине своего пути, как бы споткнувшись о невидимую преграду, поворачивают под прямым углом и медленно затихают на огромном расстоянии от места своего зарождения».*

Многие факты из этого письма показались Гарту настолько интересными, что он решил прочесть перевод Юнге.

Гарт преодолел обычное смущение и постучал вечером в комнату метеоролога.

Юнге пил чай за столом, покрытым черной бархатной скатертью. На ней было множество рыжих пятен, говоривших о старости. Корки черствого хлеба валялись рядом с сухими лепестками желтых георгинов. Цветы в вазах менялись только во время возвращений Зои. В остальное время они осыпались и наполняли комнату запахом гниющей воды и тления.

Гарт сдержанно осмотрелся. Комната очень подходила для любого из его рассказов.

Синие карты погоды на стенах были покрыты множеством стрелок, как бы пущенных армией веселых мальчишек. Стрелки показывали движение ветров над Европой.

Рядом с картами при свете лампы Гарт увидел несколько картин. Они изображали различные виды облаков.

Облака всегда привлекали Гарта. Он любил эти плавучие материки, пропитанные влагой. Он мог часами рассматривать средневековые города кучевых туч, воздвигнутые на границах стратосферы, и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом небе.

Но больше всего он любил грозовые тучи, затмевающие солнце. Трещины молний взрывались в дыму и темноте урагана. Гарт прислушивался. Ливни приближались в молчании. Вода не плескала у прибрежных утесов. Сухие травы стояли неподвижно, запутавшись в паутине. Только чайки металась с испуганным пискотом и искали в скалах забытые гнезда.

Юнге налил Гарту стакан крепкого чая. Гарт неохотно оторвался от картин и сел к

столу.

Рядом с ним на полках поблескивали медью и стеклом метеорологические приборы.

Тогда как все было покрыто пылью и носило следы холостяцкой жизни, приборы были начищены до солнечного блеска.

Гарт мельком взглянул на барограф. Кривая шла вниз. Барометр падал. Гарт, вздохнув, подумал, что наступает конец сухим и солнечным дням.

Гарт, не решаясь заговорить, потянул к себе картушку старинного компаса. Черная многогранная звезда была окаймлена знакомыми и любимыми с детства словами: Nord, Ost, Sud и West.

Сколько раз Гарт представлял себе такую картушку, освещенную масляными лампами и светом Млечного Пути где-то там, по ту сторону экватора, где рыбы бьются о форштевни кораблей.

— Любуетесь? — спросил Юнге. В голосе его Гарт уловил легкую насмешку.

Гарт мельком взглянул на Юнге. Его синий морской китель был расстегнут, под ним виднелась белоснежная сорочка. Голубоглазый старик добродушно смотрел на Гарта и постукивал пальцами по столу.

Гарт ничего не ответил. Он развернул рукопись и прочел Перевод о барбадосском урагане. Юнге слушал внимательно, прихлебывая чай. Иногда он усмехался.

— Хорошее описание урагана, — сказал он спокойно. — Я понимаю, почему вы им заинтересовались; парусные корабли, поэтические названия, гул бури — все это, конечно, прекрасно. На днях я перечитал ваши рассказы, достал их в Морской библиотеке. Но дело не в этом!

— А в чем же? — спросил оторопевший Гарт.

— Погодите. — Юнге прислушался.

В одном из приборов что-то жалобно зазвенело. Далеко на рейде тяжело стонал и звал о помощи бакен-ревун. Значит, с моря подходила волна.

— Если бы я обладал вашим талантом, — сказал наконец Юнге, — я бы перевернул землю вверх дном. Вот, взгляните, — старик показал на барограф. — Идет норд-ост, самый проклятый ветер на Черном море. Он называется «бора». Почему бы вам не заняться его изучением?

— Зачем? — спросил Гарт.

— Тут двумя словами не отделаешься. — Юнге встал и заходил по комнате. — Ураган в Барбадосе! Блестяще! Я не верю, что описал его сухопарый английский моряк. Описали его вы.

Юнге прищурил глаз и хитро посмотрел на Гарта. Тот отрицательно покачал головой.

— Ну, ладно. Поверим на слово. У вас дар необыкновенной выдумки. Почему вы не хотите выдумать что-нибудь такое, что поселит величайшее и радостное смятение среди моряков, если не среди всего человечества?

— Что я должен, по-вашему, выдумать для человечества? — спросил, раздражаясь, Гарт.

— Ну, хотя бы найдите способ уничтожить эти ураганы. Гарт встал. Разговор начинал походить на издевательство.

Шутка привела Гарта в состояние холодного негодования.

— Я говорю серьезно, — сказал Юнге. — Сначала выслушайте меня, а потом обижайтесь.

Он заставил Гарта сесть.

— Я бывший моряк. — Юнге придвинул Гарту коробку толстых папирос. — Курите и приготовьтесь слушать. Во время плаваний меня больше всего занимала погода. У вас, сухопутных, разговоры о погоде считаются признаком пошлости и дурного тона. Когда в так называемом обществе совершенно не о чем говорить, вы краснеете и бормочете несколько слов, что «вот, мол, идет дождь» или «удивительно, какая стоит в этом году холодная весна». Окружающие смотрят на вас с сожалением, как на отпетого идиота. И они правы. Это

действительно глупо. Такие разговоры я считаю насмешкой над сложными явлениями, происходящими в земной атмосфере. Если бы от погоды зависела ваша работа, жизнь и судьба ваших товарищей, как это бывает у моряков, вы бы не вели разговоры о ней так банально и невежественно. Поучитесь у рыбаков беседам на эту тему. Каждый рыбак расскажет вам о ветре или цвете неба такое, что вы закачаетесь!

— Я с большим уважением отношусь к явлениям природы, — заметил Гарт. — Поэтому я и перевел письмо о барбадосском урагане.

— Вы долго рассматривали рисунки облаков. — Юнге осветил лампой пыльные картины. — Облака! — воскликнул он. — Вы знаете, что облака — это совершенно точные сигналы о погоде! Это небесная азбука Морзе. Все дело в том, чтобы уметь ее разбирать. Меня научили этому турки — опытные и смелые шкиперы.

Каждый год восьмого ноября по всем прибрежным городам Анатолии собираются в кофейнях старые моряки. Они пьют кофе, поглядывают на небо и совещаются, а к вечеру объявляют фелюжникам и контрабандистам предсказание погоды почти на всю зиму.

Так повторяется из года в год. Это прекрасная традиция. Ни одна метеорологическая станция не дает таких верных прогнозов. Турки предсказывают по облакам.

В конце концов, это просто. Погода создается воздушными вихрями — циклонами и антициклонами. Каждый воздушный вихрь рождает свои облака. Ничто в мире не имеет такого великого разнообразия форм, как облака. Надо знать все оттенки их цвета, быстроту полета над землей, их высоту и плотность. Это сложное искусство. Почему бы вам не написать рассказ об этих турках, мастерах пагоды? Они заслуживают рассказа не меньше, чем расщепление атома.

Гарт сидел не двигаясь. Он не заметил наступившей тишины, потому что видел со всей остротой подлинного зрения грязную набережную турецкого городка, вымощенную вперемежку то булыжником, то старыми плитами из красного мрамора, зеленое море, дождь, грубые паруса и стариков, читающих, как раскрытую древнюю книгу, свиток туч, несущихся над Черным морем, над этим беспокойным Кара-Денизом.

— Подумайте, — сказал Юнге. — А теперь вернемся к барбадосскому урагану. Меня считают чудачком. Эта слава ходит за мною по пятам тридцать лет.

Тридцать лет назад я осмелился высказать мысль, что все ураганы одинаковы, где бы они ни случались. Разнятся они только в силе. Причины их возникновения — циклоны и антициклоны — всюду те же: и в Вест-Индии, и в Желтом море, и у нас. Такой вот барбадосский ураган вы можете увидеть на Черном море. Конечно, он не будет так жесток и поэтичен, как в тропиках. Нет надобности плавать с тропики, чтобы познакомиться с ураганами. Вы можете их изучить, стоя у мола в Одесском порту. За эти дерзкие мысли старые хрипуны-капитаны объявили меня сумасшедшим.

— Вы, кажется, обещали, — напомнил Гарт, — рассказать о способе уничтожения ураганов.

— Я к этому подбираюсь. У нас на Черном море есть несколько местных ветров. Они не подчиняются общим законам, и это дало повод капитанам смеяться над моими мыслями. Самый ужасный из местных ветров — новороссийская бора.

Гарт кивнул головой. Все, что рассказал Юнге о новороссийской боре, представилось Гарту в виде обрывков еще не написанного рассказа. До Гарта голос Юнге доносился издали, будто из-за запертой двери.

Привел в себя Гарта телефонный звонок и сердитый голос Юнге.

— Какая телеграмма? — спросил Юнге. — Относительно штормовых сигналов? Не поднимайте тарарам. Я сейчас приеду.

Состояние глубокой задумчивости, которое пережил Гарт во время рассказа Юнге, случалось с ним часто. Может быть, ему он в значительной мере был обязан своими рассказами. Он записывал все, что узнавал и думал в таком состоянии, не полагаясь на память.

Я видел некоторые записи Гарта, не предназначенные для печати. Иногда они были

интереснее его напечатанных рассказов. В них отсутствовала выдумка. Но ее заменял необыкновенный, присущий Гарту, подбор реальных, даже на первый взгляд скучных фактов.

Запись Гарта о новороссийской боре была коротка.

*«Впервые наши моряки узнали, что такое черноморская бора, в 1848 году. Это было через десять лет после основания на берегу Цемесской бухты, у подножия темных и безлесных гор, Новороссийского укрепления.*

*В августе этого года бора разметала в Новороссийске эскадру адмирала Юрьева и потопила несколько кораблей. Особенно трагичной была гибель «Струи».*

*Окрестности Новороссийска отличаются жалкой растительностью. Бора калечит и убивает все. Выживает только сухая трава и кусты колючего держидерева.*

*Как начинается бора? Над голым хребтом Варада показываются белые клочья облаков. Они похожи на рваную вату. Облака переваливают через хребет и падают к морю, но никогда до него не доходят. На половине горного склона они растворяются в воздухе.*

*Первые порывы ветра бьют по палубам кораблей. В море взвиваются смерчи. Ветер быстро набирает полную силу, и через два-три часа жестокий ураган уже хлещет с гор на бухту и город.*

*Он подымает воду в заливе и несет ее ливнями на дома. Море клокочет, как бы пытаясь взорваться. Ветер швыряет увесистые камни, сбрасывает под откосы товарные поезда, свертывает в тонкие трубки железные крыши, качает стены домов.*

*Бора дует при ясном небе. Зимой она всегда сопровождается крепким морозом.*

*Корабли превращаются в глыбы льда. Лед, срываясь со снастей, калечит и убивает матросов. Он закупоривает наглухо двери домов. Он забивает печные трубы. Во время боры жители города страдают от жестокого холода. Человек, застигнутый борой на улице, катится по ветру, пока не задержится у какого-нибудь препятствия.*

*Один из моряков эскадры Юрьева писал о боре:*

*«Матросы, обрубая лед, сменялись беспрерывно, язвимые в лицо морозной водяной пылью. Платье на них леденело. Тело ныло от боли. На корабле из-за оглушительного свиста ветра и треска снастей не было никакой возможности отдавать приказания. Мы не слышали даже пушечных выстрелов с соседних судов, моливших о помощи.*

*Залив покрылся мрачною мглою. Сквозь нее никакое зрение не могло разобрать предметов даже в нескольких сажнях. Иногда только в зените был виден клочок чистого неба.*

*Ночью от густоты воздуха и невыразимой быстроты его течения звезды как бы дергались в небе.*

*Двое суток мы находились в авральном состоянии. Мы сбивали лед ломом, раскаленным железом, обливали его кипятком. Тонкие снасти превращались в ледяные бревна.*

*Когда ураган достиг наивысшего напряжения, мы обрубили реи, утлегарь и весь такелаж на мачтах, но это несколько не помогло. Хотели выбросить за борт пушки, но и это сделать было невозможно, — пушки вместе со станками приросли к палубам, образуя глыбы льда. Волны свободно ходили через корабль.*

*Эскадра Юрьева погибла оттого, что лопнули все железные якорные цепи. Корабли были разбиты о подводные камни.*

*С тех пор некоторые капитаны, застигнутые борой, начали отдавать якоря не на цепях, а на пеньковых канатах. Железные цепи делались слишком хрупкими от жестокого мороза — неизменного спутника боры — и легко ломались на перегибах около клюзов.*

*Эскадра погибла, разбившись о берега. Только один корабль «Струя» потонул среди залива, не выдержав тяжести нарощего льда.*

*Он стоял, закрепив якорную цепь за бочку. Он не успел вовремя расклепать ее, чтобы ветром его могло выбросить на берег. Тогда часть людей могла бы спастись.*

*В газетах того времени много писали о судьбе этого корабля:*

*«Когда мрак бывшей бури прочистился, на месте, где стоял несчастный корабль,*



*виднелась только верхушка мачты с реей, как крест над влажной и холодной могилой пятидесяти человек».*

*«В конце августа на Севастопольский рейд был приведен кузов корабля «Струя», поднятый со дна в заливе Новороссийском. Нельзя высказать того, что мы чувствовали, остановясь на шканцах корабля, растерзанного борой.*

*О, сколько дум и сколько чувств прекрасных*

*Не умут слов, глагола не найдут!»*

*«На этом корабле погибли отличные матросы. Они были обстреляны пулями черкесскими и ядрами арабскими, закопчены солнцем Африки, закалены в водах Нила и Иордана. Судьба их — одно из самых печальных происшествий на Черном море».*

*После 1848 года во время боры в Новороссийске погибло много рыбацких шхун, пароходов и даже военных кораблей.*

*Несколько слов о цвете этой бури. Все бури имеют свой цвет горизонта, воды и неба.*

*При боре небо блистает холодной синевой. Горизонт покрыт мглой свинцового цвета. Небольшие клочья белых облаков пролетают над самыми мачтами. Воздух режет кожу как бы осколками льда. Все краски кажутся совершенно свежими, еще не просохишими. Маяки светят ярче, чем всегда».*

Это все, что Гарт записал после разговора с Юнге. Очевидно, старик читал ему выдержки из книги и газет и вообще говорил очень много. Запись Гарта напоминает короткий конспект обширного исследования о боре.

Гарт проводил Юнге до пристани. Старик на моторном катере уехал на метеорологическую станцию подымать свои штормовые сигналы.

По дороге на пристань, на улицах, освещенных только из окон и потому немного таинственных, Юнге рассказал наконец Гарту свою, на первый взгляд сумасшедшую, идею об уничтожении новороссийской боры.

Чтобы понять мысль Юнге, Гарт должен был точно представить карту Новороссийской бухты.

За хребтом Варада, замыкающим бухту, лежит высокая долина, похожая на громадную чашу. Она открыта к северу и защищена горами с юга. Поэтому в ней всегда собирается холодный и плотный северный воздух.

Он медленно накапливается, ползет вверх, доходит до гребня Варада и начинает переливаться вниз, в сторону Новороссийска. В Новороссийске воздух теплый и разреженный. Холодный воздух из долины обрушивается всей тяжестью на Новороссийскую бухту, как в пустой сосуд.

Начинает действовать гигантский воздушный водопад — бора. Он прекращается не раньше, чем воздух по обе стороны хребта приобретет одинаковую плотность.

— Ну как? — спросил Юнге. — Вы не догадываетесь, какую пустяковую вещь надо проделать, чтобы уничтожить бору?

Гарт пожал плечами.

— Очень просто, — сказал Юнге. — Надо прорыть у подошвы хребта два-три туннеля. Они дадут постоянный и незаметный сток холодного воздуха из долины в бухту, и бора кончится на вечные времена. Напишите о боре так, как вы умеете писать о всяческих невероятных происшествиях. Нанесите удар по нелепостям природы. Мы добьемся, что туннели пророят. На одном из них будет высечено ваше имя и надпись над ним: «От благодарных моряков всего мира».

Юнге засмеялся. Гарт молчал.

— Ну как же? — спросил, еще не отсмеявшись, Юнге.

— Я подумаю, — ответил Гарт.

Они попрощались. Гарт пошел домой. Он не мог собрать разбежавшихся мыслей. Разговор с Юнге вызвал смятению.

«Почему?» — спрашивал себя Гарт, злился и не мог найти ответа. О чем они говорили?

О самых обыденных вещах — циклонах, боре, облаках и турках. В этом не было ничего особенного, а самый разговор был даже беспорядочен и длинен.

Только у себя в саду Гарт понял причину волнения. Ветер шумел в сухих айлантах и акациях. За открытым окном соседнего дома, в закоулке, обнесенном ветхой балюстрадой, слышались голоса.

Впервые Гарту захотелось подслушать чужой разговор. После беседы с Юнге он ждал от каждой встречи с людьми неожиданных открытий.

Гарт посмотрел на небо. Звезды бились и сверкали серебряной чешуей, как бьется в сетях пойманная камса.

С моря неслись облака, легкие, как туман. Около облаков звезды сверкали сильнее, чем на чистом небе. Они переливались белым, синим и желтоватым огнем. Гарт не знал, что это предвещает бурю.

Гарт устал и крепко уснул этой ночью. Он не слышал, как ветер прошумел над городом, и не видел легких теней, посетивших его комнату на одно мгновение. Это пролетели за окном в свете поздней луны ломкие листья платанов. Тень листьев пробежала по книгам, забытым на столе, по начатому рассказу и по усталому лицу спящего Гарта.

## ОЖИДАНИЕ БУРИ

Весь следующий день Гарт ждал бури, но она не пришла. Вопреки обыкновению, Гарта радовало, что не он один ждет ветра, а ждет вместе с ним весь город.

На сигнальной мачте Павловского мыса с рассвета висел штормовой сигнал — черный конус и черный квадрат. Сигнал означал приближение бури с норд-оста.

Каждый ждал шторм по-своему. Рыбаки торопились поставить на якоря смоленые байды. Перевозчики угоняли шлюпки в тихие затоны, где качались на воде щепки и мандариновые корки. Голубые военные корабли крепче швартовались к красным плавучим бочкам. С Северной стороны шныряли катера, спеша перебросить домой из города хлеб и бензин, сахар и картошку.

Серебряные гидропланы прятались в ангары, как пчелы заползают в улей. Маячные сторожа протирали суконками толстые линзы фонарей. Школьники клеили змеев. Хозяйки законопачивали бумагой щели в окнах. Одни только дворники ничего не делали, хотя и ждали ветра с гораздо большим нетерпением, чем остальные обитатели города. У дворников были свои соображения: ветер должен был вымести и продуть город насквозь с силой гигантского вентилятора.

Днем Гарт, устав от работы и бесплодного ожидания бури, поехал на Северную сторону.

Это место он любил больше всего в Севастополе. В пещерах, выбитых в желтых сухих утесах у берега бухты, жили рыбаки — загорелые оборванцы — с женами и полуголыми детьми. Пещеры были забиты фанерой. На ней то синими, то оранжевыми заплатами пылали разошедшиеся двери. Прозрачная вода набегала к порогам пещер, позванивая пустыми консервными жестянками. Серые сети и развешанная на канатах рваная роба дополняли пейзаж.

На заднем плане, за тонким лесом желтых мачт и свернутых парусов, похожих на полотняные листья бананов, за путаницей турецких балконов, разбитых черепичных крыш, колючей проволоки и высохших акаций, желтела степь, поросшая пыльной травой. По ней бродили равнодушные псы — старожилы и владельцы этих рыбацких и крепостных берегов.

Гарт сошел с ялика на ветхую пристань. Седоусые перевозчики стояли около облупившихся шлюпок и угрюмо покрикивали в пространство:

— Кому в город? Зыба нет! Нет зыба! Да разве это зыб, товарищи?

Гарт любил смотреть на разнообразных пассажиров, садившихся в шлюпки. Но сегодня пассажиров почти не было. Сел унылый грек с миртовой веткой в руке, — должно быть, он принес ее с Братского кладбища. Грек с недоумением повертел ветку в руке и выбросил в

воду. Села белобрысая девочка с черной мяукающей кошкой. Потом в шлюпку прыгнул, насвистывая, молодой краснофлотец. Он споткнулся, густо покраснел и отвернулся ото всех с обиженным видом.

Пестрые куры рылись в гнилых водорослях, выброшенных прибоем. На Северном рейде синели крейсера и миноносцы.

Шлюпка отчалила. Гарт пошел в поселок. Он заглядывал во все дворы. Почти в каждом он замечал интересные вещи. Дворы напоминали склады декораций. Казалось, лет сорок назад здесь под открытым небом ставилась веселая пьеса из жизни пиратов. Театр уехал, а декорации — поломанные и живописные — остались на вечные времена. Они заросли татаркой, покрылись шершавой пылью и выгорели под черноморским солнцем.

Белье на каменных оградах висело, как изорванные театральные костюмы. Их вывесил проветривать подслеповатый старик с чадающей трубкой.

Дети гоняли по крутым спускам железные обручи. Громкая эта игра свойственна всем широтам земного шара. Она осталась в наследство, вероятно, от доисторических времен, существовала с первых дней изобретения колеса.

Воздушные змеи косо дрожали в синеве и уходили, с жужжанием, в тень облаков.

На пустырях тоже валялись остатки театрального реквизита — разбитые кувшины, высохшие букеты и поломанные весла.

Стены старинных круглых фортов были наискось разрезаны тенью и солнцем. Сухая трава шелестела в бойницах.

Чайки с красными лапами сидели на чугунных шарах — пустых минах, изъеденных ржавчиной. Цвет ржавчины ничем не отличался от цвета птичьих лапок.

Гарт прислушивался к пisku чаек и пытался подобрать для него созвучия в человеческой речи. Казалось, чайки тревожатся и спрашивают себя: «Чьи мы? Чьи мы?»

На крышах фортов были укреплены сигнальные мачты. Тонкие тросы поддерживали их и весь день ныли от ветра.

На мачтах шумели флаги. Гарт был уверен, что эти куски цветной материи пахнут, как выстиранное белье. Недаром их неделями обдувал соленый ветер.

Вечером на мачтах загорались зеленые фонари, и казалось, что форты, как мониторы, неся сигнальные огни, тяжело шли в ночь навстречу невидимым вражеским эскадрам.

Эти давным-давно разоруженные форты остались на Северной стороне со времен Севастопольской обороны. Они придавали всему пейзажу облик старинного крепостного района, засыпанного вросшими в землю ядрами.

Крепостная жизнь привлекала Гарта. Он бы с наслаждением поселился в пустынных цитаделях. Бронзовые орудия и казематы мирно уживались здесь с играми детей, умыванием веселых котят и геранью, доцветавшей в старых снарядных гильзах, набитых землей.

Гарт пошел вверх по шоссе, пока шум человеческих голосов не остановил его. Шум долетал из-за калитки, выкрашенной в синий цвет.

Гарт открыл калитку и смело вошел во двор. Он поймал себя на мысли, что месяц назад он не сделал бы этого — не из робости, а попросту из отсутствия любопытства к людям.

Неловкость своего появления Гарт решил объяснить очень просто, — хотя бы узнать у хозяина, как пройти на Братское кладбище.

Во дворе около белой стены валялась килем вверх тяжелая оранжевая лодка. Рядом стояло ведро со смолой. Часть днища была замазана липким дегтем.

Человек, только что смоливший лодку, — тщедушный старик с косматыми бровями, — стоял, окруженный мальчишками, и держал в руке что-то беспомощно бившееся и издававшее болезненный писк.

Гарт с остротой зрения, никогда не изменявшей ему, заметил около стены ящик с масляными красками и сохнувший на стуле этюд. Он изображал происходившую здесь, видно, совсем недавно и чем-то прерванную сцену — старика, красящего оранжевую лодку.

Появление Гарта не произвело ни на мальчишек, ни на старика никакого впечатления.

Гарт подошел и заглянул через головы мальчишек. Старик держал в руках воробья,

залитого смолой. Смола капала с крыльев на брезентовые штаны старика, но он не замечал этого.

Старик поднял глаза на Гарта и крикнул, — Гарт понял, что старик глухой.

— Га! Видали? Как оно залетело в ведро с дегтем, никак не пойму. Чи оно больное, чи слепое, — как вы думаете?

Глаза у старика были голубые, как у сибирского кота.

— Надо его обмыть керосином, — посоветовал Гарт.

— И теплой водой! — крикнул мальчишка с суетливыми глазами. — Обязательно теплой водой!

— Га? — снова крикнул старик и вопросительно посмотрел на Гарта. — Говорите крепче, потому я глухой еще с революции пятого года. Адмиралу Чухнину надо сказать спасибо, барабанной шкуре, — через него я оглох.

Гарт насколько мог громко повторил совет о керосина,

— Так как же! — ответил старик. — Обязательно обмоем. Женщина пошла за керосином. Сейчас принесет. Пусть живет птичья душа.

Появление молодой женщины было стремительным. Она» распахнула калитку, бурей ворвалась во двор и бросилась к старику. Из-за порывистости движений Гарт не успел её рассмотреть.

Первое, что он увидел, — это руки женщины, сильные и быстрые. Она взяла у старика воробья и решительно вытерла ему ватой, смоченной в керосине, крылья и лапы,

Воробей поднял веко, взглянул на женщину желтым глазом и забился у нее в руках.

— Какой дурак! — сказала женщина.

Глядя на руки женщины, Гарт догадался, что набросок маслом принадлежит ей. Голос почему-то окончательно убедил его в том, что перед ним художница.

Гарт посмотрел на женщину и вспомнил: когда он подымался сюда, то встретил ее на шоссе.

Эта мимолетная встреча вызвала ощущение, будто он присутствует при завязке нового рассказа. Такое ощущение уже не раз бывало у Гарта. Оно всегда сопровождалось глухим волнением. Казалось, вот-вот в жизнь войдет то, что Гарт называл счастьем: неожиданность, сила человеческих чувств, полоса заманчивых событий, внятный и мимолетный стук чужого и потому особенно прекрасного женского сердца. Но это только казалось.

Гарт считал, что способность к счастью — такой же редкий талант, как способность к музыке, живописи или революционной борьбе. Себя он считал обойденным этим талантом.

У него не было ни сил, ни желания сживаться с чужой жизнью, а без этого, по мнению Гарта, счастье было невысказано.

Гарт хорошо чувствовал себя только с мальчишками. Их восприятие мира ничем не отличалось от гартовского. Фантазия поддерживала существование большинства этих восторженных и худеньких людей.

Гарт посмотрел на женщину и отвернулся. Если бы его спросили, что он увидел, он бы ответил: свет.

Свет моря и воздуха, свет солнца и блеск, присущий человеческой радости и уму, — именно это Гарт увидел в глазах женщины. Она улыбнулась. Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.

Гарт решил уйти. Он боялся, что эта встреча, если ее продлить, окончится тоской и тем сумбурным состоянием, когда человек перестает писать, думать и читать книги. А этого Гарт боялся больше всего.

Гарт взялся за ручку калитки.

— Вы куда? — спросила женщина.

Гарт остановился. Он досадливо посмотрел на женщину и не открыл калитки. Потом, вспоминая об этом, Гарт думал, что жизнь порой складывается совсем по-необыкновенному из-за сущих пустяков. Стоило ему пренебречь окликом, открыть калитку и выйти на пыльную дорогу — и ничего бы не случилось. Но, собственно говоря, и сейчас ничего не

случилось.

— Вы в город? — спросила женщина.

— Да, — ответил Гарт. — Вы тоже будете переправляться в город?

— Конечно. Если вы не очень торопитесь, подождите меня. Я только соберу краски и кисти.

Гарт подождал. Он не представлял себе, о чем будет говорить с ней по дороге.

— Прощай, дед! — прокричала она старику, захлопывая ящик с красками. — Окончу тебя завтра. Сейчас я тороплюсь.

— Да как хотите! — крикнул старик. — Все одно я инвалид, какая с меня людям польза! Малюйте себе на здоровье! А у меня есть забота — выхаживать того пацана!

Старик разжал ладонь и показал воробья.

По пути к пристани Гарт заметил, что женщина совсем не торопилась. Она шла медленно, часто останавливалась и смотрела на Севастополь, вздымавшийся над бухтами.

— Я знаю, кто вы такой, — сказала женщина, когда они спускались к бухте. — Зоя Юнге рассказывала мне о вас. Но еще до этого я читала — не помню где, в каком-то журнале — ваши рассказы. Вы — Гарт, правда?

— Правда, — согласился Гарт.

Женщина назвала себя. Ее звали Сметаниной.

Говорили о приближавшемся шторме. Сметанина взяла Гарта за рукав и показала на море. От молочной воды до зенита небесный свод был окрашен в сизый цвет. На нем гудел гидроплан, похожий на оловянную игрушку. Закатное солнце осветило рыжие овраги и желтые дома.

Вся Северная сторона предстала перед Гартом с резкой до боли в глазах стереоскопичностью. Угрюмое освещение отчетливо показало неизмеримость воздуха, лежавшего между домами и далеким планом предштормового неба.

Над берегами и морем властвовала тишина. Только гидроплан нарушал своим рокотом всеобщее оцепенение перед бурей.

— Вот так всегда перед норд-остами, — сказала Сметанина. — Нет никакой возможности передать это оцепенение красками. Очень, очень трудно.

Она вздохнула, подняла с земли осколок синей простой тарелки и спрятала его в карман пушистого жакета.

— Очень трудно, — повторила она после долгого молчания. — Я всегда работаю на открытом воздухе и устаю, как каменотес. С этим стариком, с Дымченко, я бьюсь уже третий день. Очень добрый старик, очаковец.

— Очаковский рыбак? — спросил Гарт.

— Нет. Он участвовал в восстании на крейсере «Очаков». Помните Шмидта?

— Ах да, да, конечно, — спохватился Гарт.

Сметанина внимательно посмотрела на него.

— Вот Шмидт! — сказала она. — Почему вы все так мало пишете о человеческом мужестве? Шмидт — фантазер, неудачник, но он человек громадного личного мужества. Дед Дымченко хорошо его знал. Он может рассказать вам о Шмидте много интересных вещей.

— К сожалению, я не умею разговаривать с людьми, — ответил смущенно Гарт.

— А вы пробовали?

Гарт промолчал. Он подумал, что за последние сутки и ему навязали три темы для размышлений — о предсказателях погоды, боре и лейтенанте Шмидте.

«Ну что ж, — сказал про себя Гарт и вздохнул. — Посмотрим».

В шлюпке Гарт молчал. Перевозчик греб стоя. Он лениво окунал весла в тихую воду.

Вечер медленно переходил в ночь. Она подымалась с востока сизым туманом.

Огни над водой горели по-разному. На востоке они сверкали напряженно и остро. На западе они переливались в оранжевой воде серыми столбами, почти не давали света и казались зажженными только для украшения этих замедленных сумерек.

Прощаясь с Гартом на пристани, Сметанина пригласила его к себе. Ей было жаль Гарта.

Безошибочным женским чутьем она поняла одиночество этого человека.

Юнге не было дома. Гарт долго ходил по комнате. За открытым окном окуналась в море Большая Медведица.

Прожитый день был громаден, утомителен. Гарт долго сидел за столом, но написал всего две-три строчки. Он начал рассказ о человеческом мужестве. Тема эта была для него еще очень туманна.

В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Раскатистые удары, похожие на пушечный гром, с размаху били по железным крышам. Свистели ветки акаций. Начинался норд-ост.

## МЕРТВЫЙ ГОРОД

Последний раз я был в Севастополе зимой 1921 года.

Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе «Димитрий». Пять дней «Димитрий» штормовал между Одессой и Тарханкутом. Дул ледяной норд-ост.

Два дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом, берегов Северного Крыма.

«Димитрий» был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел изо всех щелей. С стороны «Димитрий» был похож на плавучую китайскую прачечную.

Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до одиннадцати баллов.

Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море — седое, зимнее, невыразимо угрюмое — ревели и несло за тонкими бортами, как Ниагара.

Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на пальто. В каютах стояла вода. Она сливалась сюда с палубы. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины плакали, мужчины помалкивали и дрожали.

На второй день сдала машина: «Димитрий» потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили «букеты» мин.

Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить местонахождение парохода. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар — моряки зовут его «испарениями» — был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта.

На третий день в носу парохода открылась течь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду.

Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломami, срывая ногти, отмораживая руки.

«Димитрий» дал SOS. Но на призыв о помощи никто не ответил.

Среди пассажиров был оборванный, небритый матрос. Он единственный вел себя как на суше: спал, пел, ссорился с полумертвыми от страха мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил «гулять» на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам:

— Чем киснуть здесь, вы бы пошли посмотрели, что делается! Красота!

Пассажиры в ответ только стонали.

Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма.

На пятые сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой побежали матросы, топя сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тьяканья щенка. Шторм заглушал все звуки своим неумолимым голосом.

Я поднялся на палубу.

— Что случилось? — крикнул я пробегавшим матросам.

— Берег! — прокричали они и показали в темноту бури. Гам тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тарханкут.

Утром мы отдали якоря в бухте Караджи. Три дня «Димитрий» мотался на волнах около берегов, таких пустынных и печальных, что даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным.

Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее роздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком.

Мы ели кашу без хлеба. В голове с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах.

Десять пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали «Жоржиками» — решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он, гад, чтобы все пассажиры подышали от голода.

Капитан — унылый и тощий старик — ответил им, что это не их, пассажирское, дело.

— А с голодудохнуть — наше дело? — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт.

До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услышал яростные крики матросов: «В море капитана! У нас найдутся свои капитаны!»

Капитан со скучающим лицом вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие.

— Брехня! — кричали матросы. — Другие капитаны по минам идут напролом. Лучше мина, чемдохнуть без воды и без хлеба.

Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут — точь-в-точь как в старинных романах — пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко:

— А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему!

Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через две минуты.

— Успеете, — сказал он матросам. — Успеете выкинуть его в море. Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана!

Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условившись с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом.

Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев десяти охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу.

Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии, со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крыше трюма одеяло и лег спать.

Через пять минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения.

Оборванный, небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся:

— Ну и здорово шуруют, духи!

Утром «Димитрий» подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши.

В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты.

Росли над водой портики домов, разрушенные ограды, бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей.

«Димитрий» сигналами вызвал вооруженный караул. Десять краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу «Димитрия», открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней, — они никак не могли понять, что с ними стряслось.

Пассажиров высадили, а «Димитрий» тихо побрел в Южную бухту, на пароходное кладбище. Котлы его развалились.

Мы поднялись с пристани в пустынный город, и нас взяла оторопь.

Голодные татары из Байдар и Бахчисарая валялись на улицах и просили хлеба. Они протягивали к нам костлявые пальцы и тихо сипели. Говорить они не могли.

Разоренный Врангелем, замученный Крым простирался вокруг — бесплодный и тощий. Стекла в окнах обледенелых домов слезились, как опухшие от голода глаза.

Вереницы серых старух бродили по мусорным улицам и тесному базару. Там торговали только сухой, как голодные клопы, барабулькой. Она стоила многие миллионы.

Старухи подбирали с мостовой раздавленные сапогами селедочные головы, рассыпанную кое-где крупу.

В бухтах гремел ураганный оружейный огонь, — рыбаки били из винтовок бакланов и чаек.

Туманы, изморозь, острые ветры налетали с Северной стороны.

Весь день я искал себе пристанища в мертвом городе. Только к вечеру я нашел его на Садовой улице, в школе для детей водников. Мне разрешили ночевать в пустом, холодном классе. В семь часов утра я должен был уходить и не возвращаться до вечера, пока в школе не кончались занятия.

Долгие часы я просиживал на Графской пристани, греясь под неопределенным солнцем января. Изредка я заходил на базар с отчаянной надеждой купить немного хлеба, но на базаре торговали розовыми цейлонскими раковинами, пепельницами, зажигалками и бязевым солдатским бельем. Все спрашивали хлеб, но ни одна живая душа его не продавала. Толкотня на базаре была совершенно бесцельной.

Дом, где находилась школа, принадлежал адмиральше Коланс. Эта решительная высокая и хромя старуха, ходившая с кочергой вместо палки, спаслась от выселения тем, что отдала под школу свой особняк. Сама она жила с сыном — бывшим мичманом — во флигеле во дворе.

Ко мне адмиральша благоволила, потому что считала меня моряком, скрывающим свое звание.

На третий день моих ночевок в школе адмиральша привела из Инкермана худую козу. Ее нечем было кормить. Адмиральша решила пасти козу на Историческом бульваре, где среди гранитных памятников на месте бастионов торчала сухая трава.

В одно туманное утро, после шумной ссоры между мичманом и адмиральшей, происходившей на чистейшем французском языке, мичман вышел из ворот и потащил козу на Исторический бульвар.

Я встретил его на спуске. Он тянул козу за гнилую веревку. Коза упиралась. Опорки болтались на ногах мичмана, но его английский пробор был, как всегда, безукоризнен.

— Здравия желаю! — сказал мне мичман и поднес грязную руку к голове. — Мамап просит вас не заворачиваться по ночам в ковер. Она очень опасается вшей.

Я пренебрег этой просьбой и продолжал каждую ночь спать в ковре. Я ложился на него не раздеваясь и наворачивал его на себя шерстяной трубой. В ковре было душно, но тепло. В комнате стоял мороз. Каждую ночь на окнах лопались бутылки с чернилами. Эти взрывы отдаленно напоминали звуки канонады, ставшие колыбельной песней тех лет.

Потом ко мне в комнату поселили начальника Скадовского порта Денисова, бывшего матроса с крейсера «Алмаз».

Он приносил под шинелью куски ломкого известкового хлеба и угощал меня. Хлеб мы



резали громадным сапожным ножом.

Денисов был в бою под Чонгаром и брал у Врангеля Севастополь.

Однажды вечером он привел в школу высокого юношу в пенсне, накормил его хлебом и заставил играть на окоченевшем рояле.

Пылала коптилка. Юноша долго сидел, подложив руки под себя, чтобы согреть их, потом подошел к роялю. В дикую ледяную ночь ворвалась, как стая трепещущих птиц, мелодия Чайковского.

Адмиральша пришла и слушала, стоя в дверях с кочергой, прямая и грозная, как богиня возмездия.

Когда юноша ушел, Денисов, укладываясь спать на составленных партах, рассказал историю знакомства с этим пианистом.

Отряд Денисова первым вошел в Севастополь. На Морской улице из окна трехэтажного дома в бойцов денисовского отряда было сделано несколько выстрелов из винтовки.

Бойцы ворвались в квартиру. Они никого там не нашли, кроме хилого юноши в пенсне. Он сидел за роялем и собирал ноты. Его сочли за переодетого офицера и схватили.

— Ты стрелял, собака?

Юноша отрицательно покачал головой.

— Покажи руки! — крикнул Денисов.

На руках не было никаких следов от затвора.

— Я музыкант, — сказал юноша. — Я музыкант из кино.

— Раз музыкант, так пусть сыграет, — злобно засмеялись бойцы. — Играй, а не сумеешь — отправим в расход!

Юноша заиграл.

— Сердце у меня зашло, — рассказывал Денисов. — Видать, человек за жизнь свою старался. Одним словом, сели мы, кто куда, закурили и слушали. Такая печаль взяла за сердце — прямо руками, — будто мать нас провожает, плачет и идем мы добывать своей кровью новое счастье, Кончил он, а Васька Тихонов говорит: «Нет никакой возможности, чтобы этот человек стрелял. Айда искать, ребята!» Перерыли весь дом и на чердаке нашли какого-то фрукта, — он в нас стрелял. С тех пор я, как попаду в Севастополь, всегда музыканта найду и то денег ему дам, то хлеба. Очень я этого человека оберегаю.

С Денисовым у меня случилась неприятность. Он был контужен на фронте и страдал тяжелыми галлюцинациями. Тяжесть их усиливалась воющими от норда, как псы, севастопольскими ночами.

В одну из таких ночей Денисов пришел поздно. Он не постучал, как всегда, в окно, а долго скреб по стеклу пальцами и, прижав расплющенный нос, смотрел на меня с улицы дикими белыми глазами.

Я открыл ему дверь. Денисов вошел, шатаясь. Кепки на нем не было. Он запер дверь на ключ, застонал и сел на пол.

— Что случилось? — спросил я, встревоженный его стоном.

— Ограбили! — закричал Денисов и вывернул карманы кожаной куртки. — Все! Деньги и документы. Все отобрали, нечистые души!

Он долго кричал об ограблении и потрясал в воздухе пачкой денег и всеми своими воинскими документами и мандатами.

— Кто ограбил?

— Кто? — переспросил Денисов и посмотрел на меня с леденящей кровью улыбкой. — Сейчас ты узнаешь — кто, любезный товарищ!

Он осторожно взял с подоконника сапожный нож, попробовал лезвие о подметку и начал медленно подходить ко мне, посмеиваясь и примериваясь, как бы удобнее всадить мне нож в сердце.

Ударом головы в живот я сбил его с ног, открыл дверь и выскочил в темный пустой двор. Ветер хрипло кричал над умирающим городом.

Я разбудил мичмана, и мы вдвоем пошли усмирять Денисова.

Мичман дрожал мелкой дрожью.

В комнате Денисова мы не застали.

Окно стояло настежь. Ветер швырял на пол сухой снег, Сапожный нож был со страшной силой воткнут в филенку двери. Когда мы вошли, он еще дрожал.

Очевидно, Денисов только что выскочил через окно и ушел.

Появился он через два дня, смущенный и печальный. Он попросил прощения за то, что ему «помстилась такая чертовщина», и сказал, что на днях едет лечиться в Москву. Мы с ним помирились.

## «ТРАВИАТА» НА КОРАБЛЯХ

Все это было в Севастополе двенадцать лет назад. Тогда в бухте стояли старинные броненосцы без брони, красные от ржавчины и грязные, как мусорные ямы. Весь флот состоял из нескольких замызганных катеров.

А сейчас я увидел голубые кряжи дредноутов и хищные носы крейсеров, нарядных и праздничных. Весь день был заполнен громом гидропланов и торпедных катеров. Они носились в пене, синеве и флагах по прекрасной карте глубоких и неузнаваемых бухт. В бухтах уже не били бакланов.

Город готовился к празднику. На каменных оградах были наклеены афиши, — один из московских театров ставил на кораблях «Травиату».

Знакомые моряки достали мне билет на это необыкновенное зрелище. Актеры должны были играть на броневой палубе, затянутой по сторонам брезентом.

Перед моим приездом шли холодные дожди. Но потом, к ноябрю, наступил штиль с его запоздалым трогательным теплом. Такие штили здесь часто случаются даже зимой. Я, знал, что Гарт живет в Севастополе, и не удивился, встретив его на палубе крейсера среди краснофлотцев и командиров.

Я не удивился встрече с Гартом, но был поражен тем, что Гарт беседовал с молодой женщиной. Она была одета с простотой, выдающей внутреннее благородство.

Увидев Гарта рядом с этой женщиной, я за него порадовался. Любовь могла вернуть Гарту потерянный интерес и действительности.

Чему я был действительно удивлен, так это встрече с Денисовым. Он узнал меня. На рукаве его кителя я увидел широкие золотые нашивки, из чего заключил, что Денисов занимает крупный командный пост.

Он рассказал, что вылечился от своих галлюцинаций, работает на Черном море по подъему затонувших судов, а «для души» занимается внедрением среди краснофлотцев любви к музыке.

Он показал мне среди оркестрантов худого человека я пенсне. Я узнал в нем, несмотря на седые виски, юношу, игравшего Чайковского в обледенелой школе.

Темные грифы виолончелей были прислонены к серым орудийным башням. Музыканты говорили, что, к счастью, нет тумана и оркестр будет слышен не только на рейде, но даже на прибрежных улицах города. Скрипки поблескивали лаком. Среди стали, блоков и орудий они производили впечатление живых существ.

Это театральное зрелище на палубе корабля перенесло меня на много лет вперед. Мелодии Верди, щемящие, как женский плач о неразделенной любви, звучали в торжественном, величавом безмолвии военного корабля.

Я сидел сзади и видел молодые и напряженные затылки моряков. Только раз все досадливо оглянулись, когда на рейде заплакала сирена. Ее голос как бы подчеркнул всю горечь того, что неизбежно произойдет на сцене.

Волнение, похожее на приглушенный восторг, теснило дыхание сотен людей. Некоторые низко опускали головы. Я не знал, рассматривали ли они так внимательно свои матросские ботинки или пытались скрыть слезы, не свойственные этим, как они сами себя шуточно называли, «скитальцам морей».

Десятки яликов с керосиновыми фонарями на бортах качались около крейсера. Из них вверх, на броневую палубу, откуда долетал печальный голос Виолетты, смотрели загорелые люди — жители севастопольских окраин. Гребцы старались не плескать веслами.

Дым звезд роился над береговыми утесами. Туманная стрела прожектора упиралась в созвездие Ориона.

Во время пауз я оглядывался, — казалось, Виолетта пела на родине Верди. Город отражался в воде рейда всеми своими огнями. Блеск пламени достигал морского дна — так прозрачна была вода севастопольских бухт.

— Что происходит? — спрашивал я себя.

Верди. Венеция. Старинный рояль и вино. Песенки студентов, седые актеры и молодая женщина с красной камелией, приколотой к корсажу.

Предательство, любовь, печальный поцелуй в висок.

Севастополь, красная эскадра, матросы-комсомольцы, якоря, цепи, советские гюйсовые флаги, тончайшая музыка — и слушатели, каким мог бы позавидовать Верди.

Все это произвело в душе радостное смятение. Только к концу спектакля оно сменилось ясным ощущением удивительного времени, переживаемого нами, и небывалого будущего, идущего, ему на смену.

Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях. Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену. Морщины на лбу разошлись.

Он обернулся, встретился со мной глазами и кивнул мне головой. Его улыбка была простодушна, как у любого из молодых матросов.

После спектакля я подошел к Гарту. Он потряс мне оба руки и тотчас же позвал к себе.

Он познакомил меня со своей соседкой. Это была художница Сметанина. Недавно в Москве я видел ее картины. В них была сила мазка, свойственная, пожалуй, только мужчине.

Сметанина произвела на меня впечатление человека чистого ума и сильного темперамента. Она была красива той непосредственной врожденной красотой, которая распространяется на все — на лицо, глаза, волосы, манеру говорить, смеяться и сердиться.

Гарт познакомил меня еще со своим хозяином — метеорологом Юнге, румяным и беспокойным стариком.

Существуют старики, целиком состоящие из любопытства и желания спорить. Они бегают по лекциям, участвуют во всех экскурсиях, никому не дают покоя, но никогда не надоедают. Таким напористым, болтливым старичком мне показался Юнге.

В катере по пути к пристани он успел рассказать мне, без всяких понуждений с моей стороны, все, что знал о Верди, и, кстати, о Гарибальди. По его словам, они были друзьями. Гарибальди долго жил в Одессе и Таганроге. Он служил капитаном на итальянском пароходе и занимался перевозкой хлеба из наших степных портов в Италию.

— Вы знаете, — спросил Юнге, — что Гарибальди сказал о социализме? Нет? Социализм — это солнце будущего. Il socialismo è il sole del l'avenire. Il sole del l'avenire! — с восторгом повторил он. Лицо его вдруг осветилось струящимся блеском.

Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация.

Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы облепили военные корабли. Огненные контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт.

Десятки прожекторов перепутали свои лучи с туманными созвездиями и извилистым течением Млечного Пути.

Музыка гремела на палубах и колебала воду. Желтые и белые, синие и зеленые огни прыгали на волнах, лопались, разлетались на сотни осколков и снова сливались в широкие световые дорожки.

Черные громады грузовых пароходов пробирались сквозь дождь огней, зажмурив глаза, ослепнув от перебегающего света, и жалобно покрикивали сиренами — просили дать дорогу.

Дым иллюминации, как зодиакальный свет, очертил линию крутых берегов, похожих на крепостные стены, и верхушки сухих, облетающих деревьев.

Листья хрустели под ногами. Только этот звук напоминал о близости зимы.

Юнге рассказывал, что в садах набухают почки. Было очень легко поверить в наступление новой весны. Воздух дрожал от невидимых горячих течений.

С площади, полого спускающейся к морю, долетал мерный шорох сотен подошв. Матросы и командиры танцевали со смущенными девушками под знакомую песенку:

*Плыли мы через лунный залив,*

*Голоса ваши тихо звенели...*

К берегу причалил катер.

— Командующий флотом, — сказал мне Гарт.

Из океана огней, с борта катера, сошел на пристань высокий человек с широкими золотыми нашивками на рукавах черной шинели. Свет блеснул на его седых висках.

Он медленно пошел через праздничную площадь, суровый и улыбающийся. За плечами командующего были годы боев и работы ради того, чтобы наконец наступило время расцвета и веселья единственной в мире социалистической родины.

— Социализм — это солнце будущего, — сказал я Гарту.

— Я знаю, — ответил Гарт. — Я давно отказался от своей невозмутимости.

*Плыли мы через лунный залив,*

*Голоса наши тихо звенели...*

— В своих прежних рассказах, — сказал Гарт и подчеркнул слово «прежних», — я часто описывал праздники в приморских городах. Плошки, пляски, драки и фейерверки. Но ничего подобного тому, что происходит, я, конечно, не мог выдумать. Я писал и не верил, что такие вещи возможны. Я писал с тоскою на сердце. Я очень сбивчиво говорю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Сейчас, когда мимо прошел командующий флотом, когда прошел через праздник человек, вынесший тяжесть революции, — праздник зазвучал по-иному. Если раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то за свое веселье, то теперь этого нет. Совесть чиста. Вы поняли меня?

— Понял, — ответил я. — Над чем вы сейчас работаете, Гарт?

— Я пишу о лейтенанте Шмидте, — неожиданно ответил он.

Мы проводили Сметанину до дома. Город шумел гулом молодых голосов. На каменных трапах росла полынь.

Сметанина жила в верхней части города, возвышавшейся, как остров, над морем. Там были тенистые улицы, очень пустынные, гулко повторявшие шаги прохожих и близкие к небу. На таких улицах хорошо было бы построить обсерваторию.

Сметанина затащила нас к себе. Она налила нам по стакану белого вина. Юнге сел к роялю и сыграл под сурдинку застольную песню из «Травиаты»:

*Налейте, налейте бокалы,*

*И выпьем, друзья, за любовь...*

Мы медленно выпили вино. Я зачитался раскрытой на столе книгой — письмами художника Ван-Гога — и почти не слышал разговора, происходившего около меня. Долетали слова о норд-осте и каких-то туннелях, которые будут стоить гроши и спасут человечество. Старик Юнге горячился и обзывал Гарта трусом.

— Если вы не хотите об этом написать, — сердито сказал Юнге, — так я сам напишу. Вот сяду и напишу! Подумаешь!

— Я не могу сейчас заниматься этим, — мягко оправдывался Гарт. — Вы знаете, что я работаю над Шмидтом.

— Ну и черт с вами! — сказал Юнге.

Когда мы вышли, ночной воздух ударил в легкие, как слабый электрический разряд. Казалось, город завалили по крыши только что вытасченными рыбацкими сетями и горами желтой листвы.

Гарт потребовал, чтобы я у него ночевал.

В пустой квартире Юнге мы еще долго ходили, спорили и смеялись.

Дикий кот носился по темным комнатам, приседая и вытянув хвост. Он прыгал на полки с книгами. Глаза его горели зеленым огнем. Он угрожающе выл, перебирал когтями и

готовился к отчаянным прыжкам. Кот играл сам с собой. Он чувствовал себя в джунглях, на опасной, увлекательной охоте. Потом он нам надоел, и мы его выгнали на кухню.

При свете свечи я долго пересматривал «Морской сборник» за старые годы, валявшийся на столе у Гарта.

Я читал о преимуществах службы на парусных кораблях, о нельсоновских капитанах и минах Уайтхэда. Я так увлекся, что уснул только перед рассветом.

## МУЖЕСТВО

*Одна смертная казнь может остановить меня!*  
**Ответ лейтенанта Шмидта адмиралу Федосьеву**

Рукопись Гарта о лейтенанте Шмидте состояла из небольших отрывков.

Уезжая из Севастополя в Коктебель, Гарт оставил ее мне на хранение. Он считал эту работу незаконченной.

Я прочел ее. Это был ряд набросков, совершенно непохожих на все, что Гарт писал до тех пор.

Работа Гарта шла у меня на глазах, и я попутно могу восстановить ту обстановку, в какой она проходила.

Мы часто ходили с Гартом на бывшую Соборную улицу, в дом, где жил в Севастополе Шмидт.

Во дворе висело белье. Сохли акации. Маленький двухэтажный дом потрескался и разрушался. Он был жалок и сер. Стертая каменная лестница вела во второй этаж, в квартиру Шмидта, где жили сейчас учителя татарской школы.

Гудели примуса, и ревели дети. Любопытные жильцы выползали из квартир и с тревогой следили за нами. Особенно их смущал Гарт своим высоким ростом, сухим лицом и глухим голосом. Они принимали его за архитектора, желающего снести их ветхий дом и построить на его месте кирпичный корпус на сорок квартир.

Но потом жильцы к нам привыкли и успокоились. Особенно после того, как Гарт привел Сметанину и попросил ее сделать набросок с дома.

— Здесь, — сказал Гарт, — произошла завязка одной из величайших человеческих трагедий.

— Я вам об этом давно говорила, — ответила Сметанина.

Я заметил, что Сметанина и Гарт понимали друг друга с полуслова.

У Сметаниной, как и у Гарта, было благоговейное отношение к местам, отмеченным памятью великих людей. Поздней осенью она ездила из Москвы в Святые Горы, на могилу Пушкина, и две недели прожила в Михайловском.

Она мечтала попасть в дрянной и малярийный греческий городок Миссолонги, где умер Байрон.

Казалось, пребывание этих людей оставляло на тех местах, где они жили, почти неуловимый прекрасный след.

Юнге называл эти мысли форменной чепухой, но я был согласен со Сметаниной. Я даже разыскал в лоции Средиземного моря описание Миссолонги и показал его художнице.

«Город Миссолонги находится в Патрасском заливе, окаймленном низкими берегами. Только вдалеке виднеются горы. Город стоит на плоском болотистом мысу. Жители его страдают от лихорадок и оспы. Миссолонги имеет безрадостный вид и редко посещается пароходами».

Гарт, услышав наш разговор о Байроне, заметил, что Шмидт любил Байрона. Перед казнью он написал своей сестре — изумительной женщине, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы спасти его от смерти, — несколько строк из Байрона:

*Сестра моя, когда бы имя было  
Еще нежней, то было бы твоим.*

*Меж нами даль, нас море разделило,  
Но все ж тобой я должен быть любим.*

Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. Но всегда желание писать книги, а не исследования, брало верх, и эта тема откладывалась на неопределенное время.

Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы записать хотя бы вкратце, как Гарт работал над напечатанной ниже рукописью.

С большой неохотой Гарт возился с документами. Он упорно разыскивал очевидцев и посещал места, связанные со Шмидтом. Документы давали сухую схему событий. Жизнь им возвращало только общение с людьми, помнящими прошлое. Эта манера работы была далека от того, как работал Гарт раньше.

Гарт ездил в Очаков. Он был на месте казни Шмидта — острове Березани. Гарт рассказывал, что Данте в своем «Аду» мог бы описать Березань со свойственной ему силой.

Гарт ездил в конце ноября. В Очаковском заливе плавал лед. Рыбаки неохотно согласились доставить Гарта на необитаемый и ненавистный остров.

В Очакове Гарт простудился и лежал в Доме крестьянина — в бывших «Номерах Таковенко», где во время суда над Шмидтом жила его сестра и защитники.

В Севастополе, на Северной стороне, Гарт разыскал престарелого рыбака Дымченко, участника восстания на «Очакове». Он очень сдружился с этим стариком.

Дымченко жил в сторожке за Братский кладбищем. Гарт проводил у него целые дни. Он носил Дымченко табак из города, болтал с ним, греясь на солнце, научился чинить сети, а в свободное время брал у Дымченко удочки и ходил ловить бычков и зеленух со старых свай около Сухой балки:

Дымченко хорошо помнил восстание на «Очакове». Он первый подхватил на руки Шмидта во время истерического припадка после объезда эскадры.

Он рассказывал обо всем охотно и спокойно. Только один раз он заплакал, когда вспоминал, как очаковцы прощались со Шмидтом перед казнью.

Мы поехали к Дымченко втроем — Сметанина, Гарт и я.

Стоял жаркий осенний день, безветренный, будто отлитый из желтоватого стекла.

В степи за Северной стороной пели жаворонки. На кладбище пылала осень. Солнце просвечивало через листья, как через нежные ладони, полные розовой крови. Пух семян засыпал дорожки. Дали были полны той ясностью, какую можно встретить только в сухих и бесплодных горах.

Около сторожки Дымченко зевала на цепи косматая и добродушная собака Рыжик. Дымченко штопал сеть. Все было патриархально, солнечно и просто, как всегда.

В этот день разговор зашел о казни Шмидта. Дымченко с матросами-очаковцами сидел после суда на плавучей тюрьме «Прут», откуда Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова взяли на расстрел.

— Как вывели Шмидта, он шел быстро, будто не по палубе, а по самому воздуху. Легкий шаг был у человека, светлое лицо. Мы просили начальство: «Дайте нам пять минут с ним и с матросами попрощаться в их смертный час. Дайте нам посмотреть на них и на него пять минут!» Не разрешили, заразы! Тогда мы все разом начали кричать: «Прощай, Шмидт! Прощай, друг, святой наш товарищ!» Офицеры — драконы, каких свет не видал, — дают приказ: «Замолчите!» — а мы не слушаем, кричим, плачем и рвем на себе форменки. Долго плакали и кричали, пока не кончили его на том острове злой пулей.

Дымченко свертывал из табака сигарку. Старческая слеза упала на нее, и бумага расплзлась под дрожащими пальцами. На затылке старика по-детски торчал седой легкий пух. Старик долго не подымал голову и тер худую грудь.

— За родного брата не так у людей болит душа, как за него, за Шмидта. Да вот — не дожил. Сил нету у меня об этом вспоминать. Растравили вы меня, чудак, — опять не будет мне сна.

Кроме Дымченко, Гарт нашел в Севастополе старого, подслеповатого аптекаря, жившего на покое. После встречи с ним Гарт показал мне ветхий рецепт.

Рецепт был на бром, но интересно было не это. На том месте, где пишется цена лекарства, рукою провизора было написано: «Лекарства для Шмидта отпускаются бесплатно — они идут на пользу революции».

Это дало Шмидту повод шутливо воскликнуть в одном из писем: «Видите, революция начинает уже кормить меня».

Старичок аптекарь рассказал Гарту о клятве Шмидта на кладбище.

Гарт собрал материал, но долго не мог писать. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не волновало. Нужен был последний толчок. Он пришел, как всегда, неожиданно. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался великолепным знатоком моря и одним из самых просвещенных капитанов русского флота. Там же говорилось, что внешне Шмидт строен, даже изящен.

Только убедившись, что Шмидт принадлежит к плеяде лучших моряков, каких знало человечество, что имя его как капитана может быть поставлено наравне с Джемсом Куком, Ворониным, Амундсеном и Магелланом, Гарт успокоился и начал писать о Шмидте. Сухопутные люди Гарта пока еще не интересовали.

Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».

*«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с надписью: «Tinctura valeriana», потому что как раз валерьянки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.*

*Такая наша профессия — присутствовать при человеческих несчастьях и брать за спасение недорогую цену по таксе.*

*Ну, однако, Шмидту я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.*

*Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь, села вот здесь на стул и заплакала.*

*— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерьянкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:*

*— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Она уже ходит по всему городу. Я переписала ее. На, прочти!*

*Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова, — лучше бы я их не читал никогда в жизни:*

*«Прошу отдать мне тело казненного брата. Анна Избаиш».*

*Избаиш — это сестра Шмидта.*

*«Все кончено! — сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерьянку. — Все кончено, Вайнштейн! Они убили его!» — повторил я и бросил стакан на пол.*

*Что я должен был делать, аптекарь и больной старик? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.*

*«Вот страна, — думал я, — будь она проклята до скончания века. И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать плевки и кровь с лица, как это делали мы, евреи. Сотни и тысячи лет!*

*Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал. И мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.*

*Было восстание на «Потемкине», потом восстание на «Пруте», но я не слышал его имени по этим делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому, что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже околоточным надзирателям. Молокососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была, как аптекарские ученики!*

*Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что наконец дождались*

*Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.*

*Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где хотите.*

*После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождают политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку. Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас начали бить залпами. Восемь человек убили, а сколько ранили — я теперь не припомню.*

*Тогда я чуть не задохся от злости. Чухнин! Вы не можете представить, как «любили» этого человека.*

*Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком. Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!*

*Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней — кучу прокламаций! И каких! В одной было напечатано черным по белому:*

*«Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пишат матросы, принадлежащие к партии социал-демократов».*

*Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!*

*Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.*

*Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной и черной материи и цветов.*

*На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.*

*Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово было, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.*

*Что он сказал? «Клянемся этим убитым в том, — сказал он, — что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав».*

*Он поднял руку и громко сказал: «Клянусь!» И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. «Клянемся!» — крикнули мы.*

*«Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы».*

*И в этом мы поклялись.*

*«Клянемся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда».*

*«Клянусь!» — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: «Бери вместо своих пипеток наган, иди, и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни», — я пойду и буду благословлять его имя.*

*«Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России».*

*Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.*

*Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.*

*С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и*



флот. — Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.

А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец «Три святителя».

Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы, и солдаты, и все мы, простые жители, требовали его освобождения.

Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офицерами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.

После этого каждый день проходил, как будто он мне снился. Я должен подумать, чтобы вспомнить, как все было.

Я боюсь спутать. Мне семьдесят пять лет, — вы не шутите! Но, между прочим, скажу вам, я не очень хочу умирать, потому что сейчас я получил первый раз в жизни свой законный отдых.

Мне хочется греться на солнце, читать газеты, слушать концерты, съездить в Москву, посмотреть на Кремль, и многое еще мне хочется.

Я так думаю, что мы с вами немного рано родились. Через пять — десять лет какой-нибудь мальчишка-ученый, даю вам честное слово, (придумает средство, чтобы люди жили еще на пятьдесят — семьдесят лет дольше. Вайнштейну будет невесело умирать и прочесть на смертном ложе такую заметку в «Известиях»:

«Дай вам бог — не бог, а жизнь — здоровья, а главное — работайте, молодой человек, и у вас всегда будет молодая кровь».

Второй отрывок из рукописи Гарта назывался «Восстание».

«Вы меня пытаете прямо как прокурор. Ну, ладно, — рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днепре. С баталером Частником, погибшим со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батяка мой был небога, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подрос, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня справного царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела — ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добедовал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщицл меня до революционного понятия. Шмидта после Речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнчики. Звали мы его «брат командир», любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно, за день до очаковского дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. Он ответил: «Буду обязательно завтра».

Узнали об этом матросы — и как занялось «ура» по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника — так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель, матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце «Пантелеймон», бывшем «Потемкине».

Чухнин, гладкая лиса, боялся «Пантелеймона». Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на тот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободе.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: «Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!» Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на «Пантелеймоне» ударники. Вот и смотрите, какие тогда были матросы, — ровно дети. Отдали ударники, броненосец не мог стрелять — и через то погиб «Очаков».

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на «Очакове». Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за Братским кладбищем. Теперь я могилу не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы да солнце, вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на «Очаков». Ночью, по приказанию Шмидта, мы захватили миноносцы «Свирепый», «Гридень» и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте «Эреклик». Шмидт послал нас на «Свирепом» в море сторожить «Эреклик», а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на «Очакове» подняли красный флаг и сигнал: «Командую флотом. Шмидт».

Все пять миноносцев ответили сигналом: «Ясно вижу» — и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали «ура».

Шмидт спустился на «Свирепый» и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

«Свирепый» подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: «Товарищи, мы поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!»

Матросы кричали «ура» и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюма и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа, — страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам «ура».

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая «Пантелеймона», не осмелел, чтобы восстать. А от «Пантелеймона» — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову «Пруту», плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт повернулся на «Очаков», созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался, — человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом наконец заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддержал.

Что он говорил, я в точности не припомню. «Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!»

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все не прошло. И такая взяла меня злоба на людей; что сделали с человеком, и каким человеком! Я готов был своими руками поубивать арестованных офицеров, что сидели у нас на «Очакове».

Бароны все были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а бить людей не стеснялись.

Одно только и знали — гаркать, как заведенные: «государь император, присяга, вера, грязное мужичье», а того в толк не брали, что государь император сам был с придурью.

Как сейчас подумая, так кровь стынет в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела она их до сырой могилы.

Эх, дожить бы им до вашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю, — ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые прутья и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу, — что такое?! — идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и колос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: «Вот и свиделись мы с тобой, Дымченко. Недаром мы, значит, шли на смерть, недаром приняли страдание».

Пятый раз так его вижу, и сердце у меня падает, — должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: «Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, так долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!»

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу, и сердце сильно болит, как перед смертью».

«Когда я вступил на палубу «Очакова», — сказал Шмидт на суде, — то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла дать всего восемь узлов хода, и без артиллерии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, не способного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, не способного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления».

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть «Очакову» — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на «Очаков» побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт «Буг», — на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что царская эскадра не откроет огонь по «Очакову», чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и Шмидт в глубине души не верил в это, иначе у него не возник бы план с «Бугом».

Расчет на «Буг» был блестящ. Достаточно было, чтобы в «Буг» попал один снаряд, — и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера «Удалец» взять «Буг» на буксир и подвести его к борту «Очакова».

Когда катер вел «Буг» на буксире, канонерская лодка «Терец» приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать «Буг».

Тогда старший офицер «Терца», — бывший друг Шмидта по морскому корпусу, Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда «Буга», боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и «Буг» пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

Когда я читал это место в рукописи, я вспомнил 1922 год в Батуме.

Была зима. Гремели ливни. Изредка снег хрустел на дощатых пристанях.

Тогда в Батуме издавалась маленькая морская газета «Маяк». Ее печатали на машине-американке. Машину крутили ногами.

В этой газете печатался Бабель, — он жил тогда на Зеленом Мысу, — и ленинградский писатель Ульяновский. Ульяновский ночевал в товарных вагонах и разгружал пароходы в порту. Он только что вернулся из плена. На его рваном пиджаке была нашита желтая перевязь.

Я редактировал эту газету, где подробно описывались кораблекрушения и всяческие морские дела. Набирал ее единственный наборщик Костя — весельчак и любитель кабаре. Ходил он почему-то с заржавленным револьвером на поясе и револьвер, по обычаям того времени, называл «пушкой».

Однажды в редакцию пришел старый моряк в засаленном тельнике под пиджаком. Рыжая щетина торчала островами на его щеках. Один глаз подергивался тиком.

Моряк назвал себя смотрителем батумских маяков Ставраки. Он принес заметку о необходимости отремонтировать маячные сирены.

Меня этот моряк поразил спокойной наглостью и насмешками над всем, что попадало в поле его зрения.

Через два дня он был арестован за продажу государственного имущества, а через неделю выяснилось, что это бывший лейтенант Ставраки, расстрелявший Шмидта.

Его увезли в Севастополь, судили и расстреляли. На суде он держался с обычной наглостью и насмехался над прокурором.)

*Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу «Свирепый» произвести минную атаку на корабли эскадры.*

*«Свирепый» вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром потряс Севастополь — эскадра и крепостные батареи открыли огонь по «Очакову» и миноносцу.*

*«Свирепый» затонул под ливнем тяжелых снарядов. «Очаков» молчал. У него не было снарядов.*

*Скверные сумерки спустились над морем. «Очаков» горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.*

*Команда «Очакова» начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.*

*Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.*

*Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: «Братцы, помогите! Братцы!»*

*На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.*

*Часть раненых успели спустить с «Очакова» в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.*

*Сколько матросов было убито на «Очакове», сколько сгорело на крейсере — он раскалится до того, что броня его стала почти прозрачной, — сколько утонуло и было убито в воде, — об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.*

*В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.*

*«Это был день смерти, — говорил потом Шмидт о гибели «Очакова». — Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытасченный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?»*

*Шмидта с сыном подобрал миноносец «270». Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с «Ростислава» подбил его. Миноносец остановился.*

*Шмидт и его сын были арестованы офицерами с «Ростислава».*

*На «Ростиславе» мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.*

*Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.*

*Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить, — им не разрешили говорить друг с другом.*

*Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку «Дунай». Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.*

*Еще на миноносце «270» кто-то накинул на Шмидта морскую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.*

*«Дунай» доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батарее.*

*Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».*

Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».

*«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как повашему, можно так сказать или нет: «тяжелое счастье», — но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.*

*Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.*

*Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.*

*Лучший слушатель — это мой внук-пионер. Ему я говорю обо всем. О пятом годе, Жоресе, войне, Октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.*

*Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.*

*Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много нарочитых приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.*

*Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.*

*А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал, быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.*

*Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него начинаю.*

*Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.*

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы, и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось наше детство с его стремлением к справедливости и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, оставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного «дела».

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: «Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас». Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: «Откройте двери!» — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография, ни один портрет не передали особого отблеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, Излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на «Потемкине». В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не обратили внимания на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным.

Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на «Очаков», Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по домам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батарее, где был заточен Шмидт,

придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы. — Сегодня его перевели с острова. Я видел, как он сошел с катера, — высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские, — и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя издали увидеть брата.

Первыми вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет... — прошел по рядам матросов глухой шепот. — Это сестра Шмидта... Плачет по нас...

Матросы сняли бескозырки — ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту, — говорила потом сестра Шмидта, — можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

— Не вздыхайте, — я с трудом вспоминаю эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

«Предсмертная серьезность моего положения, — сказал он, — побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мною приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы я один ответил за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила из толпы меня, заурядного человека, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мое сердце, и я приму смерть».

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.

Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму «Прут».

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом, торжественном молчании. Матросы срывали с себя

погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью.

Все было кончено. По статье сотой Уголовного положения Шмидт был приговорен к повешению, а Частник, Gladков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался наконец сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко:

— Прощайте, Александр Сергеевич.

Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — Часовой отвернулся. — Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он.. — Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что вокруг происходит.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».

«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту «Прута» подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием, приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в Евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В Евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.



*Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.*

*Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.*

*Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки «Терец». Позади них стояли солдаты. Орудия «Терца» были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.*

*Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.*

*Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:*

*— Лучшие приказы своим людям целиться прямо в сердце.*

*Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры растерялись. Казнь затягивалась.*

*Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал «огонь», пригнулся к земле и закрыл лицо руками.*

*Звеняще и тревожно запела труба горниста. Шмидт не отрываясь смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.*

*Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал Антоненко.*

*Матросы с «Терца» бросали ружья и растерянные бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением:*

*— Вот и кровь моя льется...*

*Его пристрелили из нагана.*

*А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.*

*В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.*

*На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодня польнь серела на глине.*

*Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову, — она как будто искала следы брата и матросов.*

*В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.*

*Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались глаза смертников, потом засыпала могилу грудями красных цветов.*

*Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно».*

*На этом кончалась рукопись Гарта о Шмидте.*

## РАЗГОВОР НА КОРАБЕЛЬНОЙ

Мы шли с Гартом на Корабельную сторону по узкому проходу между каменных оград.

С оград свешивался плющ. Теплый инкерманский камень выветрился и казался покрытым не то гнездами стрижей, не то пчелиными сотами.

Проход этот тянется около километра. Он то подымается на холмы, то спускается вниз. В оградах видны замурованные двери. В трещинах камней растет чертополох.

У подножия оград цветут в пыли последние желтые цветы — те скромные осенние цветы обочин и пустырей, какие даже не имеют имени. Может быть, имя у них и есть, но никто его не знает, кроме ботаников.

Я сказал Гарту, что этот проход напоминает старинные порты. Мы как будто не в Севастополе, а в выдуманном Кастле из его рассказов.

Гарт ничего не ответил. Он шел и тщательно отбрасывал ногой камешки с дороги.

Заговорил Гарт только на Малаховом кургане. Бронзовый адмирал Корнилов с

равнодушным лицом предлагал отстаивать Севастополь. В колючих кустарниках паслись коровы. Гарт остановился около белого памятника французским и русским солдатам, убитым при штурме Малахова кургана, и вслух прочел надпись:

*Unis pour la victoire,  
Reunis par la mort —  
Du soldat c'est la gloire,  
Des braves c'est le sort!  
(Их объединила победа,  
и снова объединила смерть.  
Такова слава солдата,  
таков удел храбрецов.)*

— Неплохо придумано, — сказал Гарт равнодушно. — А то, что вы говорили насчет Кастря, — это вы оставьте. Мне сейчас не до этого. Я написал несколько отрывков о Шмидте, неполных и несовершенных. Они мне дались тяжело, Теперь будет трудно писать по-старому.

— Почему?

— Меня уже не интересует выдуманная жизнь. Я хочу найти подлинный материал такой же силы, как материал о Шмидте, и работать над ним. За Шмидта я взялся почти случайно, но вот видите, к чему это привело.

Смешно было говорить Гарту о моих мыслях по этому поводу. С Гартом произошло то, что должно было случиться. Он был думающий и наблюдательный человек, и уход от равнодушия к подлинной жизни был для него неизбежен.

Гарт шел к перелому медленно и по-своему — через знакомство с Дымченко, через мысли о романтике Шмидте, через музыку Верди на советских кораблях и через как будто бы фантастический проект об уничтожении ураганов, осуществить который могла только Советская страна.

Я промолчал и показал Гарту на вечернее небо над Северной бухтой. Лиловое и темное, оно было освещено красноватым огнем облаков. На нем пылали, как желтые костры, рыбацьи домики в безвестных слободках. Мгла лежала в глубоких балках. Севастополь зажигал первые огни.

— На днях я поеду с Юнге в Коктебель, а оттуда в Новороссийск, — сказал Гарт. — Мы займемся борой. Это очень увлекательно.

— Вы начинаете борьбу за уничтожение боры?

— Да... Очень возможно, — ответил Гарт.

Он пробормотал несколько слов. Из них я понял, что Гарт обвинял меня в скептицизме и неверии в возможность уничтожить бору. Я опять промолчал, — должно быть, от изумления.

С Павловского мыса мы переправились в город на ялике. Южная бухта и Севастополь показались мне нагромождением огней, паровых труб, сигнальных мачт, колоннад, памятников, якорей и осенних звезд, дрожавших в изрезанной катерами воде.

Через два дня Гарт уехал, оставив мне в Севастополе своих знакомых — Сметанину и Дымченко. Я обещал через неделю приехать в Коктебель, но некоторые события — о них речь будет ниже — задержали меня, и я встретился с Гартом значительно позже.

Судьба преследует меня. Еще не было случая, чтобы мои планы сбывались. Всегда на моем пути попадется какое-нибудь событие и отвлечет в сторону от намеченной цели.

На юг я приехал для работы над книгой. Мне следовало безвыходно сидеть в севастопольской Морской библиотеке и изучать необходимые для книги материалы. Но вместо этого я заинтересовался делами, не имеющими отношения к книге, и потерял три месяца на скитания по побережью.

Я не жалею об этом. Побережье Черного моря дало мне много знаний о людях, революции, кораблеводении и жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были оваяны запахом морской соли и воздухом нашей молодой страны.

## АРТЕМИДА-ОХОТНИЦА

Луч прожектора пронесся над оградой и рассыпался известковой пылью в зарослях по склону горы. Яркий блеск наполнил до потолка низенькую хибарку Дымченко. Он раздвинул стены и исчез, — стены снова сжались и потемнели.

Желтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный хлебным ножом. За печкой тикал, как ходики, сверчок. Запах старости не выветривался из комнаты — теплый запах мела и пыли.

— А ну, покажь еще! — таинственно сказал Дымченко.

Старый рыбак Андрей, приятель Дымченко, осторожно разжал руку. Я нагнулся.

На ладони тускло сверкнула золотая монета. На ней было выбито изображение Артемиды-охотницы. Ее тяжелые волосы были завязаны высоким узлом. Короткий хитон развевался от порывистого движения. Одной рукой она подымала лук, другой держала за рога испуганную козулю и пыталась ее опрокинуть. Лицо Артемиды дышало волнением и гневом.

— Должно, греческая богиня, — пробормотал Дымченко. — До чего ловкий народ пиндосы! И лимонами не дураки торговать, и моряки с них подходящие, и скумбрию жарят как никто, и «на тебе — каких богинь с золота делают!

— Одна морока мне с той богиней! — закричал тонким голосом Андрей и с досадой высморкался. — Одно мучение мне через ту чертову богиню. Не пойму, куда ее пристроить до дела.

Я взял монету. В трещинах темнела тончайшая пыльца тысячелетий.

Андрей третий раз повторил незамысловатый рассказ об этой богине:

— Скажу вам по секрету: под Херсонесом есть у меня одно тайное место, вроде яма с-под старого фундамента. В той яме понаходил я много глиняных грузил. Старинные грузила, прочные, обожженные, — лучше наших. На них я ловил цельный год, а недели две — не больше — отобрал их у меня какой-то московский. Десятку мне за них дал. Высмотрел, очкастый, как я сеть с воды вытягал, и пристал до меня, как заноза. «Не отдашь, говорит, я их у тебя все одно реквизирую в пользу пролетариата. Потому это вещи для музейного назначения». Я и отдал. Мне они без особой надобности.

На другой день подался я до своей ямы новые грузила копать. Грузил не нашел. Однако слышу — под камнем бренчит жестянка. Я до нее, а она золотая. У меня в глазах жар сделался. Чуть не сомлел я от -страха. Взять боюсь и оставить боюсь.

Однако взял, завернул в платок и с той поры хожу, как бандит, — ни сна, ни покоя. Будь она трижды проклята, анафема, нет на нее погибели! Отдать боюсь и ховаю каждую ночь в ялик под пайол, — не хочу ее в хате держать.

Теперь должны вы дать мне правильное назначение, как ту богиню притулить до дела. Есть у меня думка продать ее и купить на те гроши корабельных гвоздей.

Из-за этой богини мне пришлось остаться у Дымченко. Совещание затянулось до полуночи. Идти ночью через степь на Северную, а оттуда ехать в город мне не хотелось.

Я долго рассматривал монету, пораженный тонкостью и чистотой ее чеканки. Она, очевидно, принадлежала к первым векам существования Херсонеса, когда этот город был крепостью Эллады на берегах Крыма. Тогда Черное море называлось Понтом Эвксинским, что значит — Гостеприимное море; а в древних греческих логиях — периплах — Херсонес еще называли Херронисом и Гераклеей, Крым — Киммерией, а Азовское море — Меотийским болотом.

Но уже тогда Черное море было описано древними географами с той скупой выразительностью, с какой умели писать римляне и греки. Геродот и Страбон, Плиний и Аристотель уже говорили о «великих пучинах» Черного моря.

На совещании у Дымченко было решено сдать монету в музей. На вырученные деньги Андрей мечтал купить корабельные гвозди. Зачем они ему понадобились, я не спрашивал.

Это выяснилось позже.

Ночью я часто просыпался, — должно быть, от непривычной тишины. Я выходил во двор, прямо в степь, засыпанную звездами. Рыжик, гремя цепью, усаживался около меня и обмахивал теплым хвостом мои ноги.

Над морем висела дикая мгла. Запах соленых бухт и сухой травы доходил до порога хибарки.

Я думал о древности этого края. Известняк под ногами казался спрессованным прахом многих поколений. Все смешалось в здешней каменистой почве — и черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с «Потемкина», и заржавленные врангелевские штыки. Я вспомнил слова Палласа, что «окрестности Севастополя представляют поистине землю классическую».

Одиссей проходил по этим берегам. Печальная Ифигения, дочь Агамемнона, томилась здесь тоской по Элладе — девушка, воспетая в величавых стихах Еврипида.

Мифы, что теряются в человеческой памяти, подобно парусам в ночных просторах моря, казались волнующими и новыми, как только что прочитанная книга.

Здесь я особенно ясно понял простоту древней поэзии. Я понял волнение наших предков — участников французской революции, волнение Байрона и Гете, Пушкина и Гнедича, пытавшихся воскресить в стихах блестящий век Эллады и ее «божественную речь».

Я с корабля сошел при блеске ночи,  
При ропоте таинственных валов...  
Горела грудь, в слезах кипели очи:  
Я чувствовал присутствие богов...

Так писал о Греции поэт Щербина. Он впервые увидел ее ночью. Парусный корабль причалил к берегам Эвбеи. Щербина сошел на греческую землю, полную великих воспоминаний.

Дымченко не спалось. Он вышел покурить. Далеко в море протрубил пароход.

— Дельфин плачет, — сказал Дымченко. — Бывают ночи осенние, когда дельфин плачет по всему морю, от Севастополя до самой Турции, и его тогда немисливо бить. Рука на него не подымается. Ни один дельфинер, даже балаклавский, и не подумает в ту ночь стрелять дельфина. А об чем он плачет, тут люди болтают всякое.

Говорят, в древние греческие времена жила в Херсонесе в изгнании молодая женщина неслыханной красоты. В Греции остался у нее человек любимый. Она приходила до моря и долго смотрела на турецкую сторону. Но ничего она не видела — одна волна и волна, — и год, и два, и десятки годов.

Женщина кормила дельфинов. Стаями они собирались и играли около нее и старались, кто чем мог, утешить ту женщину. По любимому человеку была у нее немислимая боль. Зябла она здесь, на чужой и холодной земле,

И вот пришла ночь ее смерти. Снег падал с неба. Море лежало черное, как самая ночь, и ветер — бора — дул с севера, со злой, дикой стороны:

Женщина легла на берегу на сырые камни, звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но никто не ответил. Только волна била и била в камень, как много годов до этого, как бьет и по сегодняшней день.

И умерла та женщина. Звезды покатились с неба, а дельфины стаями кинулись к Греции, к теплему морю, чтобы донести до родных слух о злой ее смерти. Каждый год в ту ночь, как она умерла, плачут дельфины по всему Черному морю. Плачут и стонут человеческим голосом.

Дымченко помолчал. Я узнал в этом рассказе далекий миф об Ифигении.

— Оно конечно, сказка. Рыбаки промеж себя выдумывают от скуки. Есть такие артисты рассказывать — ночь всю просидишь с ними, ни в одном глазу сна не будет!

Три дня я потерял на раскопки около Херсонеса. Мне, взрослому, было немного стыдно

тратить время на то, чтобы ковыряться в земле вместо назначенной мне работы. Поэтому я втянул в раскопки двух пионеров. Они мечтали отрыть из-под земли «дохлого воина».

Сметанина смеялась надо мной. Но на второй день, когда мы нашли светильник для масла с выпуклым изображением рыбы, она перестала смеяться и начала с таким же азартом, как я и мальчишки, перебирать сухой щебень.

Кроме светильника и трех грузил, мы ничего не нашли.

Андрей показал нам яму, где следовало рыть. Он получил от музея за монету сто рублей. У археологов, по словам Андрея, руки затряслись, когда они увидели его богиню.

Мы рыли три дня, а на четвертый отнесли находки в музей и показали одному из сотрудников.

Он был удивлен и подозрительно нас расспрашивал, кто мы и почему так заинтересовались древностями. Он смотрел на нас, как на врагов, вторгшихся без объявления войны на чужую территорию.

Только после длинного разговора он смягчился и даже показал нам много бронзовых, свинцовых и несколько золотых монет.

Он пересыпал их на ладони и называл имена городов, где они чеканились, — блестящий список имен: Пантикопея, Феодосия, Родос, Синоп, Ольвия, Фанагория, Неаполис Македонский и еще множество имен, которых я не запомнил. Все эти имена говорили о былом богатстве Херсонеса. Он вел торговлю со всем тогдашним миром.

В конце концов сотрудник успокоился и начал поглядывать на нас сквозь очки с веселой доброжелательностью.

Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов.

Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил, — в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище.

Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии.

Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен. И наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом, черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.

В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевидно, творение великого мастера четвертого века до нашей эры.

Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену жалкого дома вместо строительного камня.

При виде этой разбитой головы я вспомнил о разрушительной силе христианства, о скуке и изуверстве, пришедших на смену утренним культурам Греции и Рима.

С гимназических времен я чувствовал неприязнь к христианству с его манной кашей добродетелей. Христос казался мне молодым толстовцем, изрекающим слащавые истины, а его бородатые святые походили на ломовых извозчиков.

Раскопки в Херсонесе нам так понравились, что несколько дней после этого мы бродили по окрестностям Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно исчезнувшей жизни.

Ничто не дает такого резкого ощущения времени, как знакомство с древней страной.

С невольным уважением прикасаешься даже к черным, как уголь, зернам ржи, насыпанным в амфору тысячи лет назад, или к позеленевшим рыболовным крючкам скифов.

Таинственное всегда привлекает, особенно детей и стариков. Старики занимаются преимущественно историей, где область загадок очень обширна.

Дети предпочитают таинственность другого рода, хотя бы рыбную ловлю. Это занятие полно неожиданностей. Никто никогда не может знать ту долю секунды, когда поплавок вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину.

Ожидание этого события, приносящего на конце лески трепещущую рыбу, погружает не только детей, но и взрослых в настроения, свойственные снам и сказкам.

Мы обошли Херсонесский полуостров до Балаклавы. Мм беседовали с огородниками, жившими в каменных гробницах греческого некрополя. Огородники спали на лежанках, устроенных сотни лет назад для мертвецов. Они рассказывали нам о подземных ворах и подделывателях древних монет.

В первые годы раскопок Херсонесский полуостров кишел подземными ворами. Они расхищали могилы и пропивали находки в матросских кабаках на Корабельной стороне. Больше всего ценились тонкие золотые пластинки — ими во времена древнего Херсонеса закрывали умершим глаза и рты.

Рассказывали о рыжем человеке исполинского роста, воре с деревянной ногой, носившем прозвище «Мальчик».

«Мальчик» сколотил на остатках греческих погребений небольшой капитал. Он купил на него ялик и переменял опасную и неверную профессию расхитителя древностей на спокойную жизнь перевозчика через Южную бухту. Ялик его назывался «Некрополь». По-гречески это означает кладбище.

Племя подделывателей монет выродилось. Последние его представители доживали свой век честной жизнью в глухих приморских городках Крыма.

О ловкости подделывателей рассказывали чудеса. Секреты изготовления древних монет передавались от дедов и прадедов. За продажу их в чужие руки изменнику грозила смерть.

Монеты удавалось сбывать не только любителям, но и матерым археологам. Говорят, подделыватели, несмотря на прожженное жульничество, относились к археологам почтительно, как к товарищам по профессии. Однажды, в знак своей любви к историческим изысканиям, они подарили одному музею лучшую по мастерству подделки монету.

Эти рассказы в сотый раз убедили нас в том, что древняя история человечества темна и непонятна. Но они не поколебали нашего уважения к археологам, стремящимся найти нити от былого к настоящему и помочь нам разобраться в детстве человечества.

На берегу Казачьей бухты мы видели основания прекрасных колонн. Около мыса Фиолент мы долго искали развалины храма Дианы, но ничего не нашли. Об этом храме Пушкин писал после поездки в Крым: «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы».

До сих пор я помню эти скитания со Сметаниной по пустынным степям и побережьям.

Мы очень подружились, хотя ничего не знали друг о друге. Обычно люди дружат, лишь разузнав всю подноготную.

Сметанину древности интересовали как художницу. Она любила формы старинных сосудов — амфор и громадных, выше человеческого роста, пифосов, где в древности хранили вино и зерно. Много таких пифосов нашли на дне Северной бухты.

Она зарисовала древние светильники с гербом города Ольвии — орлом, парящим над дельфинами, — монеты и статуи. Но больше всего ей понравился надгробный памятник рабу — белый камень с изображением кривого виноградного ножа.

Особенно занимала Сметанину раскраска посуды. Она ничем не отличалась от красок окружающей земли. В ней господствовали коричневый, почти красный, цвет почвы и нестерпимо синий оттенок моря. Чтобы зарисовать эти древние вещи, Сметанина тщательно подбирала краски — терракоту, сиенну, венецианскую красную землю и шершавый густой кобальт.

Археологическое бродяжничество окончилось в Мраморной бухте около Георгиевского монастыря. Мы провели там весь день. Я ловил бычков и розово-зеленых рулен. Сметанина читала рассказы Гарта.

Каждая мелочь этого дня врезалась в память. Я помню даже морского конька под водой и шорох щебня на обрыве. Воздух был очень прозрачный. Каждая валявшаяся на песке обломанная клешня краба и камешек сердолика казались совершенно выпуклыми. Рыбы сверкали на самолоте. Я видел их, когда они бились еще на большой глубине. Креветки шевелили голубыми лопастями ножек. Медузы валялись на кромке прибора шарами мягкого стекла.

Осеннее солнце быстро склонялось к горизонту, но мне не хотелось уходить. Можно было сутками сидеть на берегу и смотреть в туман, стараясь различить черту неведомых берегов, и потом понять, что это не берега, а гряда облаков, висящих в небе очень далеко, пожалуй над Мраморным морем.

Можно было пересыпать песок и находить обломки ракушек, чешую скумбрии, пахучие нитки морской травы, осколки мрамора и халцедона.

Можно было в упор смотреть в глаза свирепому крабу и, подняв гниющую траву, увидеть фейерверк из прозрачных морских блох.

Можно было рассматривать подводные миры, слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о недалеких временах, когда неторопливое созерцание будет признано столь же необходимым для человека, как сон и чтение.

## РЖАВЫЕ КОРАБЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ

Два дня я работал в Морской библиотеке. Я рылся на полках, уставленных кожаными фолиантами.

Но даже в библиотеке было много соблазнов, уводивших в сторону от главной работы. Я Зачитывался лоцией Красного моря, хотя для моей книги это было не нужно, рассматривал заграничные морские журналы с рисунками кораблей всех стран и эпох, начиная от Ноева ковчега и кончая последними океанскими лайнерами, изучал модели корветов, развешанные по стенам, и досадовал на недостаток времени.

Богатство неожиданных знаний было так велико, что сутки казались пустяковым промежутком времени.

На третий день я встретил Сметанину. Она видела Дымченко и сообщила мне любопытную новость — дед Дымченко и Андрей обивают корабельными гвоздями старую барку «Перекоп». Занятие это казалось Сметаниной совершенно бессмысленным. По ее словам, гвозди вколачиваются без, всякой видимой цели один около другого по всему днищу барки.

Вечером я поехал на Северную сторону. Действительно, я застал стариков за этим занятием. Они предложили мне принять участие в работе. Гвозди надо было вколачивать так, чтобы между шляпками оставался промежуток не больше сантиметра.

Барка стояла на толстых деревянных стойках. На бушприте мылся облезлый рыжий котенок. Он внимательно поглядывал на меня прищуренным глазом.

Около барки, как водится, сидели любопытные. Они покуривали и поплевывали, перекидываясь замечаниями, — делать им было совершенно нечего. Они поглядывали то на нас, то на дым из очагов, подымавшийся к небу. Дым возвещал о близости сытного ужина и усиливал добродушное настроение любопытных.

Шел разговор о горестной судьбе Андрея, — ему всю жизнь не везло. Этот разговор помешал мне сразу же узнать у Дымченко назначение нашей непонятной работы.

— Один раз мне в жизни повезло, — кричал Андрей, чтобы заглушить стук молотков, — да и то, так сказать, неудачно. Было дело в германскую войну, Я рыбалил в Балаклаве с пиндосами. Ловля была плохая, В море далеко не сунешься, а в бухте рыбы нет и нет, — чистое наказание!

Однако темной ночью нагнало, на наше счастье, кефаль. Забила она бухту так густо, что весло вставишь — оно торчком стоит и само идет по воде. Но нет возможности ту кефаль ловить. Нету в Балаклаве морского червя, а она на него одного и берет.

Подался я до Инкермана. Там, сказывали, в одном лиманчике того червя была пропасть. Приперся я, начал, копать — нет червя и нет. Он, стерва, глубоко в грязь зарылся, никак не докопаешься. Жара, пот с меня льется, весь в грязи, как кабан, а червя нет и нет.

Я уже думал плюнуть на это дело. Сел покурить. И тут якась чертовина как взвыла, как вдарила в лиман с полного ходу — меня зашвырнуло сажен за десять. Вскочил я, смотрю — нет лиманчика! Одна яма, и с нее желтый дым идет. То «Гебен» подошел к Севастополю и

первым— снарядом, собака, запустил в меня, в рыбачка.

Вся грязь с лимана раскидана круг меня по балочке, и в той грязи червя — многие миллионы. Собрал я его два ведра, воротился в Балаклаву, и взяли мы неслыханную силу кефали. А я три года был глухой на левое ухо — грязь мне взрывом в ухо набило. Вот какое дело, рыбачки!

Рыбаки наперебой заговорили о налете «Гебена».

Я воспользовался шумом и спросил Дымченко, для чего мы обиваем барку гвоздями. По-моему, работа эта носила чисто декоративный характер. Меня удивляло, что многочисленные зрители, склонные, как и все морские люди, к зубоскальству, не обращали на нашу работу внимания. Они равнодушно поглядывали на барку, ставшую похожей на сундук, густо обитый для красоты медными гвоздями.

— Вы слышали за корабельного червя? — ответил мне вопросом Дымченко. — Такая есть гадючка белая. Она деревянный корпус, такой, как у «Перекопа», источит за полгода в труху. Ходы она в дереве роет, да так густо — один коло одного. Нигде на всем Черном море нет такой силы корабельного червя, как у нас в Севастополе. До кампании пятьдесят четвертого года его тут не было, а в кампанию лихой адмирал Нахимов потопил в бухте Черноморский флот, загородил бухту от англичан, и с той поры червя развелось гибель. Старинный корабль — линейный, или, скажем, фрегат, или шлюп — все были деревянные. И на пропасть того дерева под водой собрался в Севастополь червь со всего берега — от Евпатории до самой Керчи. Сваи точит, ялики точит, где какое судно найдет — тут же точит. Вот и хоронятся от него моряки и рыбаки, как могут. То красят ядовитой краской, то обшивают подводную часть медным листом, разное делают. Однако у нас, стариков, свое верное средство — обивать кузов гвоздями. Червь тот боится ржавчины хуже смерти. Мы гвозди вгоняем с таким понятием, чтобы шляпка от шляпки находилась близко. Ржа расплзется, закроет весь кузов, и не будет тому червю ни ходу, ни возможности погубить «Перекоп». Андрей загнал богиню в музей за сто целковых, купил гвоздей, и вот — барочка будет у нас крепкая. Десять лет проплавает — ни один червь ее не возьмет.

Я вспомнил рассказ, слышанный в детстве, о корабельных червях, чуть не погубивших Голландию. В старое время плотины, ограждавшие Голландию от моря, — эта страна, как известно, лежит ниже уровня моря, — строились из дерева.

Цемент тогда не знали, а привозить камень издалека было дорого.

В один прекрасный год корабельные черви проточили плотины. Вода начала просачиваться и затапливать зеленые равнины страны. Были собраны тысячи рыбаков и крестьян, подвезен лес, и страну удалось спасти.

Еще я вспомнил сказку о голландском мальчике. Он заткнул пальцем в плотине отверстие, проточенное корабельным червем, и держал палец, пока не прибежали взрослые и не законопатили щель.

Моя память получила толчок, и неожиданно я обнаружил, что в детстве много читал и слышал о корабельном черве.

В журнале «Вокруг света» я читал о корабле знаменитого пирата Дрека «Золотая лань». Он был насквозь изрешечен червем и погиб от этого в пучинах океана.

«Вокруг света» был журнал заманчивых приключений на суше и на море. Я помню гравюры на дереве, изображавшие черные гавани, матросов с бакенбардами и кораблекрушения около солнечных атоллов. В журнале печатались романы Киплинга и Буссенара, Жаколио и Стивенсона.

Там я читал замечательные повествования о капитанах парусников, прокопченных пороховым дымом в абордажных боях и изучивших все хитрости блокад. Когда такие капитаны блокировали Брест, адмирал Нельсон, проходя мимо их эскадры, поднял сигнал на рее своего корабля: «Видя вас, я дрыхну так же спокойно, как если бы ключ от Бреста лежал в моем кармане».

До сих пор я помню рассказ о капитане Мирсе. Во время морских сражений он ловил рупором упавшие на палубу вражеские ядра и выбрасывал их за борт, прежде чем они



успевали взорваться.

Все эти рассказы перемежались с описаниями Огненной Земли, с военными реляциями о боях в Трансваале и с путешествиями Миклухи-Маклая.

Рассказ Дымченко снова отвлек меня от работы. Я погрузился в изучение морских глубин и нисколько не жалею об этом.

Я утешал себя мыслью, что вдали от моря это изучение было бы не так увлекательно. Здесь, бродяжничая по окрестным берегам, я находил богатую пищу для размышлений и догадок.

В конце концов я бросил работу над книгой, махнул на нее рукой и с головой ушел в океанографию.

Разве любая область знаний, изученная неожиданно и как бы некстати, не составляет величайшей ценности для развития человека? Вот примерно те нехитрые доводы, какими я пытался усыпить придирчивое чувство долга.

Книгу я так и не написал, и все из-за этих проклятых корабельных червей, носящих красивое имя «торедо».

Это даже не червь. Это морская улитка, двустворчатая крошечная ракушка, не больше булавочной головки.

Она вгрызается в дерево острыми створками и все время вращается вокруг своей оси. Ходы, просверленные торедо, безукоризненно круглы и отполированы. Ни одно из животных и ни один из механизмов не могут проделать такой совершенной и тонкой работы.

Когда моллюск входит в дерево, то оставляет отверстие, едва заметное глазу. Он выпускает конец своего слизистого тела, наглухо прикрепляет его к отверстию и высовывает наружу две тоненькие трубки. По ним торедо всасывает воду и выбрасывает нажеванную древесную труху.

Торедо, вгрызаясь в дерево, быстро растет и толстеет. Поэтому ход делается все шире и длиннее, а тело моллюска, прикрепленное к входному отверстию, вытягивается, как резина. Вот тогда-то моллюск и становится похожим на червя.

Через несколько дней торедо уже не может вылезти обратно из своей деревянной норы. Достигнув старости, он умирает внутри дерева.

В тропиках торедо растягивается на два метра в длину и бывает толщиной в человеческую руку. На Черном море нет червей длиннее пятидесяти сантиметров.

Сколько бы червей ни сверлило один и тот же кусок дерева, их ходы никогда не пересекаются. Каким-то особым чутьем торедо знает о близости чужого хода и сворачивает в сторону. Ходы переплетаются в причудливые и тесные узоры, но всегда между ними, как бы близко ни подходили они друг к другу, остается тончайшая прослойка дерева.

Я видел рентгеновские снимки корабельных корпусов, изъеденных торедо. Рисунок ходов напоминал непролазную чащу вьющихся растений или клубок безнадежно запутанных ниток.

Около Инкермана я нашел на берегу старую пристанскую сваю. Я отпил кусок сваи, и передо мной открылся целый город, построенный торедо, полный широких дорог, тупиков и переулков. Внутри ходы были покрыты слоем твердой извести, а снаружи на сваях ничего не было видно, кроме небольших, похожих на точки, отверстий. Я без труда раскрошил сваю руками.

Знакомство с торедо заставило меня всерьез заинтересоваться жизнью моря.

Я перестал смотреть на него, как смотрел до тех пор и как, возможно, смотрит на него большинство людей, — вот, мол, исполинская чаша соленой воды, приятная для глаза.

Я узнал, что эта глубокая впадина, синяя от соли и зеленая от диатомовых водорослей, живет по точным, но подчас еще не раскрытым законам.

Жизнь моря оказалась настолько многообразной, что нужны были годы, чтобы узнать ее хотя бы в общих чертах.

Каждый раз, когда я видел его синий свет, его веселые пенистые бури, я думал, что мы знаем не больше червей. Мы живем в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни,

цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению человечества.

## ВОДА ИЗ СВЕТА

Ночь оглохла. Сколько я ни прислушивался, я не мог различить ни одного звука. Изредка казалось, что я слышу осторожный плеск воды у прибрежного камня, похожий на затаенный вздох.

Я долго вслушивался и всматривался в темноту. Проходили долгие минуты, но звук не повторялся.

Иной раз я слышал высоко над головой шелест пролетающих птиц. Я знал, что чайки и бакланы давно уже спят, и не мог понять происхождения этого звука. Невольно в голову приходила мысль, что шелестят звезды.

Изучить все звуки ночи мне и Сметаниной пришлось поневоле.

Мы приехали на трамвае в Балаклаву. Весь день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и стариков, беседующих около вытасненных на берег, подпертых известковыми глыбами шхун.

Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину набережной, как по серым коврам. В бухте, в зарослях морского салата, качались стада камсы.

Высокое небо с единственным облаком, похожим на кисть винограда, отражалось в воде.

В нишах домов вместо статуй стояли сухие олеандры и метлы из полыни. Тусклые огни светили из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов.

Вечером прекратился ток. Мы попали в ловушку — трамвай не ходил. Нам пришлось заночевать в Балаклаве.

Сердобольная гречанка уступила нам комнату в доме, похожем на узкую крепостную башню. Балкон висел над самой водой.

Сметаниной спать не хотелось. Она сидела на балконе, закутавшись в одеяло, снятое с койки. Мы молчали. Я заметил, что Сметанина, несмотря на порывистый, веселый нрав, вообще много молчала.

Безмолвие ночи длилось недолго. Когда слух привык к тишине, я начал различать ворчание воды в подводных пещерах. Море бормотало во сне и сердилось на кого-то, кто не давал ему спать.

Огни в городе погасли. Только зеленый фонарь при входе в лагуну тлел не ярче фосфорной спички.

Я смотрел на Сметанину, но не видел ее лица. Внезапно, может быть оттого, что мои глаза устали, мне показалось, что ее лицо осветилось холодным огнем. Я отчетливо различил чистый лоб, брови и встревоженные глаза.

Сметанина вскочила, схватила меня за руку и крикнула:

— Море горит!

Я оглянулся. Все, что произошло дальше, я до сих пор не могу представить себе как действительность. Люди в таких случаях, говорят, что действительность была похожа на сон, но сейчас это было неверно. Она была лучше сна.

Море горело. Казалось, его дно состояло из хрусталя, освещенного снизу лунным огнем.

Свет разливался до горизонта, и там, где всегда сгущается тьма, небо сверкало, как бы затянутое серебряным туманом.

Широкий свет медленно мерк. Но после недолгой темноты море опять превращалось в незнакомое звездное небо, брошенное к нашим ногам. Мириады звезд, сотни Млечных Путей плавали под водой. Они то погружались, потухая, на самое дно, то разгорались, всплывая на поверхность воды.

Глаз различал два света: неподвижный, медленно качавшийся в воде, и другой свет — весь в движении, рассекающий воду быстрыми фиолетовыми вспышками. Это метались под водой разбуженные рыбы.

Сметанина потащила меня по темной каменной лестнице вниз, к воде.

Белый огонь набегал на пляж, и было видно все дно. Камни и жестянки, валявшиеся под водой, покрылись тонкой огненной росой.

Сметанина зачерпнула воду в ладонь. Сквозь пальцы полились, с плеском струи жидкого магического света. Вода освещала ее лицо, бледное от волнения.

Мы присутствовали при одном из самых величественных явлений в мире. Сметанина радовалась, как ребенок. Мокрые ее руки еще долго светились в темноте.

Море погасло так же быстро, как вспыхнуло.

До рассвета мы просидели на застекленной террасе и говорили о разных морских чудесах.

Лампа освещала на стене олеографию, изображавшую греческий крейсер «Аверов». Это был знаменитый «Аверов» — мишень для постоянных насмешек черноморских рыбаков и гордость каждого грека. Рыбаки кричали, что на «Аверове» деревянные якоря. Я сам в Керчи был свидетелем жестокой драки из-за этого между рыбаками и греками — чистильщиками сапог.

Лампа освещала белые стены, стоножек, шкатулки из лакированных крабов и сухие букеты.

Мы говорили о флуоресценции моря. Осенью в морской воде появляются мириады бактерий-ноктилюк. Они похожи под микроскопом на лист водяной лилии. В них заложено множество крошечных светящихся зерен. Они-то и вызывают свечение морской воды.

Но светятся не только бактерии. Белым светом горят медузы. Таким же светом горит и странное животное — «морское перо», похожее на куст коралла. Если его вынуть ночью из воды, то множество блуждающих огненных точек начинает перебегать по ветвистым частям. Животного то вверх, то вниз.

Мелкие морские черви дают то синий, то зеленый, то фиолетовый свет.

Некоторые креветки излучают яркий желтый свет, а черноморская ракушка фоллада, сверлящая скалы, горит голубым огнем.

В Средиземном море водятся прозрачные, как стекло, животные — пирозомы. Они светятся попеременно то красным, то синим огнем. Английский ученый Мозлей написал пальцем на пойманной большой пирозоме свое имя и бросил животное в воду. Через несколько секунд слово «Мозлей» вспыхнуло на теле пирозомы под водой с такой же яркостью, как вывеска кино.

Рыба морской черт носит перед собой на усиках два ярких электрических огня и приманивает на них глупых креветок.

Иные морские животные выпускают в воду светящуюся слизь, чтобы ослепить врага, иные пользуются собственным светом, как фонарем, чтобы отыскивать пищу.

## МОРСКОЙ КАЛЕНДАРЬ

В то время я увлекался чтением старинных кругосветных путешествий. Я всегда носил с собой какую-нибудь пожелтевшую книгу и в свободное время прочитывал по несколько страниц.

Сейчас со мной были «Записки из кругосветного плавания корвета «Абрек», написанные штурманом Серебряковым в 1865 году.

Спать не хотелось, и я прочёл из этой книги несколько страниц:

*«Второго апреля 1864 года мы возили в пассат и быстро приближались к острову Нукагива, лежащему в Тихом океане, вблизи Таити.*

*Ночью меня вызвали на палубу. Темнота была полной. Но тем более разительным представилось мне зрелище, открывшееся за бортами корвета.*

*В черной, как деготь, воде плавали во множестве, подобно китайским фонарям, огненные шары. Яркость их то прибывала, то убывала. Они внезапно гасли и потом, точно по безмолвному приказу, вспыхивали белым огнем.*

*Шаров этих было несчетное количество. Мы вытащили из воды несколько штук.*

*Матросы предполагали, что это громадные жемчужины. Догадка эта была вызвана тем, что мы шли над жемчужными рифами. Но огненные шары оказались большими медузами, или, по-нашему, «морскими сердцами».*

*Будучи вытащены на палубу, они разгорелись еще ярче. При их свете я сделал запись в судовой журнал об этом явлении.*

*Люди балагурили между собой, что вот, мол, Тихий океан приветствует наш приход столь пышной иллюминацией.*

*Утром мы увидели остров. Корвет лег в дрейф и послал шлюпку на берег. Пристать было трудно из-за бурунов, кипевших над коралловыми рифами. Мы выскочили из шлюпки в воду по пояс, вода была очень теплая.*

*С величайшим трудом, прорубая дорогу в первобытном лесу, мы вышли к спокойной лагуне.*

*В ее воде лежали раковины таких ярких цветов, что многие из нас не могли удержаться от криков восхищения. Я долго бродил в воде и собирал их, потом освежился молоком из кокосовых орехов. Растительность вокруг лагуны стояла цветущими стенами. Она издавала пряный и горячий запах.*

*Сотни земляных раков, сидевших в пустых раковинах и тащивших за собой свой дом, ползли к нам со всех сторон так поспешно, что мы решили отступить. Но раки, как выяснилось, были привлечены скорлупой кокосовых орехов. Они выедали из них мякоть и несколько нас не боялись, — даже тащили орехи у нас из рук.*

*Днем мы подошли к бухте Тайо-Хай. Несколько европейских домиков виднелось в зарослях хлебного дерева и кокосовых пальм.*

*К нам подплыла шлюпка с резидентом острова — толстеньким старичком-французом. Остров принадлежит Франции. Резидент предупредил нас, что на острове среди дикарей свирепствует оспа. Год назад к острову подошел перуанский корабль, силой захватил около ста туземцев и продал их в рабство в республики Южной Америки. Через год несколько туземцев-канаков вернулось на французском корабле, но все вернувшиеся заболели оспой и заразили остров. До тех пор эта болезнь не была известна жителям Тихого океана.*

*Ко времени прихода «Абрека» в Нукагиву из двух тысяч дикарей умерло около тысячи. А в 1804 году, когда этот остров посетил адмирал Крузенштерн, на нем было восемнадцать тысяч жителей.*

*На острове мы видели трех монахов, несколько солдат и отставного французского матроса — содержателя дрянной лавчонки. Он продавал дикарям на вес золота коленкор, стеклянные бусы и ром последнего сорта.*

*Вечером мы посетили короля Нукагивы — молодого человека, изрытого оспой. Он ежегодно получает от французского правительства три тысячи франков жалованья.*

*В комнате его мы нашли скудную европейскую обстановку, расшатанные стулья и столы, и на стене висела олеография. Она изображала нападение волков на наши русские сани. Эту картину подарил королю какой-то русский бродяга, попавший на остров.*

*Король угостил нас джином. Сам он был пьян.*

*На этом острове нам пришлось услышать о явлении необъяснимом и представляющем интерес для ученых.*

*Резидент проводил досуг за джином и изучением обитателей моря. Он показал нам заспиртованного в стеклянном сосуде морского червя, носящего имя «палоло». Червя этого резидент назвал «морским календарем». Это прозвище было придумано не без оснований.*

*Весь год этот червь живет на дне океана, в трещинах скал и коралловых рифов. Но ежегодно в один и тот же день осенью все черви подымаются гигантскими стаями на*

*поверхность воды для брачного танца. В, этот день океан вблизи острова бывает сплошь покрыт червями палоло и их красной икрой. Вода приобретает яркий розовый цвет.*

*Задолго до этого дня туземцы готовят пироги для ловли палоло и вялят листья хлебного дерева. Палоло заворачивают в эти листья и едят. По словам резидента, вкусом черви напоминают свежую икру.*

*Появлению палоло предшествует ряд любопытных явлений.*

*Дня за три до всплытия палоло с гор к морю спускаются громадные стаи сухопутных крабов. Крабы идут на ловлю палоло.*

*Туземцы следят за деревом ало-ало — его европейского названия я не знаю. Когда оно покроется крупными красными цветами, дикари начинают следить за луной. Они ждут того вечера, когда луна взойдет над чертой горизонта. На десятый день после этого можно ожидать выхода палоло.*

*Мы провели весь вечер у резидента в беседе и спорах об этом явлении природы.*

*Луна подымалась над островом в своем великолении. Зрелище этого светила, льющего лучи на затерянный в океане клочок земли, навело меня на мысль о могуществе лунного света.*

*Этот свет оказывает свою силу не только на червей палоло, но и на приливы и отливы в океане и на другие явления нашей во многом не разгаданной земли».*

## ДВОЙНАЯ ВЕСНА

То, что я узнал о червях палоло, заставило меня задуматься над влиянием времен года на жизнь моря.

Палоло роятся только осенью. Множество мельчайших морских обитателей живут один год и к зиме умирают. Знакомый моряк Баранов, капитан буксирного парохода «Смелый», в разговоре со мной обронил фразу: «Осень уже стояла на море — водоросли в то время завяли».

Как раз в эти дни в Севастополе кончалась сухопутная осень.

Облетала листва. Земля приобрела ту звонкость, какая предшествует выпадению снега. Птицы высокими стаями неслись в Турцию, и только желтые, под цвет инкерманского камня, бабочки изредка залетали в сады.

Слова капитана Баранова об увядающих водорослях вызвали мысль о смене времен года не здесь, на земле, а там, в морских глубинах.

Я решил найти Денисова и уговорить его «пустить меня в водолажном костюме хотя бы на небольшую глубину, чтобы посмотреть подводную осень».

Денисова я не нашел, но все же погрузился ж изучение подводной осени.

Я хотел найти характерные морские черты этого времени года.

Чем была замечательна морская осень? Прежде всего обилием рыбы. Реки тусклой свинцовой камсы лились мимо берегов Севастополя. Кефаль толпами слонялась по бухтам. Дельфины подошли к берегам.

Это явление казалось непонятным. На примере пресных рек и озер я знал, что по осени рыба прячется глубокие омуты и залегает там до весны. Здесь же, на море, осенью начиналось необычное оживление. Даже мрачные бычки ловились сотнями в самом городе и у скал Херсонеса.

Водоросли не увядали, а, наоборот, качали на дне свои свежие густые леса.

Я решил, что Баранов что-то напутал.

Дымченко тоже склонялся к этой мысли. Он уверял меня, что в море бывает две весны. Одна совпадает с сухопутной весной наших широт, а вторая возвращается на море в октябре.

— А тому Баранову вы не верьте! — кричал Дымченко. — Он же капитан с буксира «Смелый», сам с образованных, а морочит голову. Га! Годов десять назад он поднял крик на весь Советский Союз, той Баранов. Весь Крым взбунтовал. Я, говорит, нашел английские документы, и в тех документах показано, что под Балаклавой потоплено английского золота

на двести миллионов рублей. Погиб, говорит, у Балаклавы английский корабль «Черный принц», погиб от страшной бури во время обороны. А вез той корабль жалованье для английской армии. Десять годов назад, сами знаете, бедность у нас была. Ну и взялись искать того «Черного принца». Корабль нашли, а золота нет. Чи засосало его глубоко под песок и завалило камнями, чи его там и сроду не было — никто не знает. Есть у меня такая думка, что Баранов сбредал. Шумный капитан, прямо грек! Как его буксир доходит до бухты, вся Северная слышит — такой крик он с мостика подымает со своей командой. Та и команда ничуть ему не уступает. Все херсонские да одесские. Вовсе отчаянный народ.

Баранова я знал хорошо и потому смеялся над словами Дымченко. Баранов был просвещенный и смелый капитан.

Слова Дымченко о двойной весне в морских глубинах подтвердили биологи.

Смена времен года на Черном море идет так — зима, весна, лето, вторая весна (в сентябре и октябре) и снова зима. Никакой осени нет.

В марте и апреле солнце с каждым днем подымается над морскими пространствами все выше, и на берегах расцветает розовая от миндаля и туманов черноморская весна.

Верхний слой воды в море нагревается. В нем начинается бурная жизнь. Особенно быстро размножается планктон — те мельчайшие животные и растения, главным образом диатомеи, которые плавают в воде во взвешенном состоянии.

Эти растения и животные не бесцветны. Иногда они придают пространствам моря красный, желтый или зеленый оттенок. Дарвин был поражен, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший красным планктоном. Граница между красной и синей водой была видна так отчетливо, будто ее провели кистью.

Каждую весну Черное море наполняется микроскопическими растениями — диатомеями. Как цветут весной заливные луга, так цветет диатомеей весеннее море.

Диатомея размножается с невероятной быстротой. Каждые двадцать четыре часа одна диатомея делится на две. Через десять дней из одной диатомеи получается около тысячи этих одноклеточных существ — не то растений, не то животных, — заключенных в хрупкую кремниевую раковину.

Формы диатомеи так причудливы, что кажутся плодом фантазии. Есть диатомеи, похожие на диски, квадраты, адмиралтейские якоря, на шары, покрытые щетиной, осколки драгоценных камней и кости рыб, на семена земных растений и цветы.

Кроме диатомеи, в планктоне плавают множества существ, обладающих всеми признаками растений и вместе с тем способностью самостоятельно двигаться, подобно животным.

Знакомство с жизнью моря убедило меня, что здесь, в подводных пещерах и среди скал, живут в сумраке и тишине странные существа, являющиеся переходной формой от растения к животному. В море было много растений, умеющих двигаться, подобно животным, и много животных, неподвижных и прикрепленных к одному месту, подобно растениям.

Когда я впервые увидел актинию — ее зовут еще морской анемоной, — я никак не мог поверить, что это не цветок, а животное.

Актиния похожа на цветок, растущий на толстом стебле. Она неподвижно живет, или, вернее, растет, на скалах и морских берегах. Венчик ее вместо лепестков окружен множеством ярких красных щупалец, покрытых синими точками. В щупальцах хранится яд. Им актиния убивает животных и съедает их огромным ртом, похожим на щель в пестике цветка.

Весной море насыщено планктоном и диатомеей. На диатомовых лугах пасутся стаи рыб и морских животных.

К началу лета диатомея исчезает. Часть ее бывает съедена рыбами, часть опускается в глубину, где ее пожирает многочисленное население морского дна.

Жизнь медленно замирает, и кажется, лето должно перейти в бесплодную осень и закончиться зимой.

Но неожиданно в сентябре начинается вторичный расцвет планктона. Море снова

наполняется гущей микроскопических растений и животных.

Стаи рыб снова идут серебряными подводными течениями, и тысячи чаек садятся на воду, хлопая крыльями. По шуму их крыльев, похожему на отдаленный гул водопада, рыбаки узнают о приближении скумбрии, камсы и фиринки.

После второй весны приходит черноморская зима с ее тяжелой водой, безжизненностью глубин и увядшими зарослями морских гниющих трав.

Веселые рыбы — макрель, чирус и паламида — уходят в Средиземное море. Норд-осты режут в туманах. Снег тает, растворяясь в черной волне. Небо лежит над морем низким куполом и не дает тепла. Солнце уходит к югу, к далеким берегам других, более счастливых и праздничных морей.

Чем объяснить наступление на море второй весны?

Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные и азотные соли. Без них немислима жизнь микроскопических растений — диатомей.

Растения вбирают в себя эти соли только под влиянием солнечного света. Зимой его мало, он слаб. Солнце низко идет над краем горизонта, лучи его косо ложатся на воду. Они не проникают в глубину, а отражаются от морской поверхности. Растительная жизнь мертва.

Весной солнечный свет затопляет море. Диатомей начинают поглощать соли и быстро развиваться. Они съедают все запасы азотной и фосфорной соли в морской воде с неслыханной прожорливостью — примерно за один месяц. В мае уже начинается соляной голод, и диатомей гибнут массами. Летом голод усиливается, и жизнь планктона замирает совершенно.

Но внизу, в холодной воде, даже летом запасы соли сохраняются нетронутыми. Планктон не может переселиться вглубь, чтобы жить этими запасами. В глубинах нет солнечного света, а без света планктон существовать не может.

Летом солнце нагревает верхние слои моря. Морская вода плохо проводит тепло. Поэтому верхняя нагретая вода лежит слоем в десять — двенадцать метров толщиной на глубокой холодной воде и с ней совершенно не смешивается. Смешать эти разные воды могут только сильные штормы, но летом их не бывает.

Осенью поверхность моря быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Жестокие бури перемешивают воду, как в исполинском котле. Вода опять насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомей и планктона — вторая морская весна.

Она длится, пока солнце дает достаточно света.

Дни становятся короче, солнце устало склоняется к югу, свет его сверкает только на поверхности вод и, отражаясь от них, создает осенний блеск воздуха. Но морские глубины тонут все в большей и большей темноте.

Планктон умирает, вянут водоросли, и зима превращает море в неизмеримые бассейны холодной воды.

Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел по утрам низкое небо и серое море. В тумане блестели только белые пятна каменных фортов. Прибой то выбрасывал на скалы умершие водоросли, то отходил от берегов и надолго замолкал. Море отсыпалось перед зимними бурями.

Я собирал водоросли, похожие на кораллы, — их называли кораллинами, — и зеленую зостеру. Ею, как непроходимой чащей, заросли севастопольские бухты.

Зимние штормы срывали ее с камней и наваливали горами на мелях. Стаи осетров залегали на зиму в этой траве. Поэтому дед Дымченко, Андрей и все севастопольские рыбаки называли зостеру «осетровой травой».

От рыбаков я узнал, что между Севастополем и Одессой лежит филофорное море. Оно занимает около трех тысяч морских квадратных миль. Дно моря на этом пространстве завалено красной йодистой водорослью филофорой. Все рыбы, черви и раки в этом море красного цвета.

Тогда же по цвету водорослей я научился различать глубины моря. Зеленые и

оливковые водоросли, растут на мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах, на границе ядовитой сероводородной зоны, растут красные водоросли.

У северных берегов Крыма есть свое Саргасово море. Называется оно Джарылгацким заливом. Там заросли водорослей подымаются осенью со дна обширными полями. Пароходы, Попав в них, наматывают на винты громадные шары морской травы, останавливаются, бросают якоря и ждут помощи.

Все берега залива завалены гниющей травой. Ее острый запах слышен в степях за километры.

Зостера придает морской воде темно-зеленый цвет. Только большие мели, где она не растет, сверкают в разных местах островами светлой воды. С мачты парохода по цвету воды можно набросать карту глубин пустынного степного залива с его песчаными островами, зарослями тростника и дикими птицами, гнездящимися около обветшалых маяков.

## РАССУЖДЕНИЕ О КРАСКАХ И БРОНЗЕ

Из французских художников Сметанина больше всех любила старика Синьяка.

Он рисовал закоулки портов, сохнувшие паруса и стеклянные двери матросских пивных. В них отражалось солнце. Он рисовал тени от мачт на дорогах, одуванчики, качающиеся от морского ветра, неуклюжих людей, мажущих смолой пузатые барки.

Рыбачьи дома, рвущиеся флаги и облезлые буксиры, плывущие по морю, как по жидкому солнечному свету, — все это на картинах Синьяка было доведено до совершенного блеска. Синьяк никогда не смешивал красок на палитре. Он не выносил грязи и тусклых оттенков.

Он брал основные цвета и клал их на холст маленькими точками — одну около другой. На расстоянии эти точки сливались в нужный художнику правильный цвет.

Картины Поля Синьяка надо было смотреть издали.

— Живопись нельзя нюхать, — сердито говорил Синьяк неопытным зрителям. — Отойдите подальше, дитя!

Картины Синьяка были написаны в манере пуантелизма, иначе говоря — тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно.

Глядя на картины Синьяка, я вспомнил кальмара, виденного мною в морском аквариуме на биологической станции.

Тело этого страшного хищника, напоминавшее обрубок дерева с длинными когтистыми щупальцами, было покрыто множеством маленьких точек очень ярких и чистых цветов — красного, синего и желтого. Издали эти точки сливались в желтоватый, то вспыхивающий, то тускнеющий цвет необыкновенной красоты.

Я не знаю, видел ли Синьяк кальмаров у рыбаков Бретани и Нормандии» Но вполне возможно, что художники заимствовали у этого обитателя океанских глубин свой способ работы и добились блестящих результатов.

Лишний раз я убедился, что море соприкасается с разнообразными областями жизни и дает много неожиданных познаний для каждого, кто умеет видеть и размышлять. Я доказывал Сметаниной, что художники должны учиться чувству красок около моря. «Кто не видел моря, тот живет половиной души», — сказал старый шкипер Кодрингтон. Имя его теперь основательно забыто. Это был английский моряк, писатель, почитатель Диккенса, добрый и отважный человек.

Неизмеримые просторы воды создают глубину красок, которой не хватает иным художникам. Сложный мир отражений и различного по силе и по углам падения солнечного света, отблески берегов, сумрак туч и сверкание огней, резкая раскраска морских животных, красные скалы и белые пески — все это заключено в пространство воздуха, то полного влаги, то резкого, как дыхание пустыни. Краски или расплываются в неясные пятна, или высыхают и горят напряженным цветом, или, наконец, покрываются тусклостью, свойственной древним странам земли.



Легче всего изучить эту изменчивость красок около моря.

Сметанина соглашалась со мной, но во взгляде ее я видел рассеянность.

Разговор происходил в дождливые сумерки. Мы подымались по выветренным ступеням к ее дому. Это был старый дом с каменными террасами, с разноцветными стеклами в окнах, с колоннами и диким виноградом, свисавшим со стен. Должно быть, его строил итальянец.

— Я хочу показать вам свою последнюю работу, — сказала Сметанина, зажигая свет в комнате. Свет электрических ламп вытеснил темноту. Она повисла за стеклами дождливой завесой.

Сметанина долго рылась в книгах на столе, вытащила папку с рисунками и протянула ее мне.

Я надеялся увидеть последние пейзажи, но вместо них увидел неожиданные рисунки.

Я рассматривал их, улавливал связь между ними, но не понимал их назначения.

На одном был изображен трехтрубный миноносец. Он стоял на гранитных подпорках среди городской площади. Это был настоящий стальной миноносец. По его борту полз плющ. Цветущие настурции свешивались из клинкетов и клюзов. Вьюнок оплетал якорные цепи, красные от налета соли. Высокая трава шумела у подножия миноносца и прикасалась к его днищу с пробоиной от тяжелого снаряда.

Голуби сидели на широкогорлых трубах. Дети играли под мощной кормой с красным истлевшим флагом. Виднелись винты, похожие на стальные трилистники.

Под рисунком была надпись: «Памятник миноносцу Свирепый».

На втором рисунке был изображен совершенно иной памятник! Высокий моряк в расстегнутом кителе сидел на камне и беседовал с рыбаком. Рыбак — типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом — сидел на земле около моряка и штопал рваную сеть. Старый корабельный кот терся о ноги моряка. Улыбка моряка выдавала человека с открытой душой.

Я всмотрелся. В моряке я узнал Шмидта, а в старике — деда Дымченко.

— Что это? — спросил я Сметанину.

— Это памятник старым очаковцам, — ответила она и смутилась.

Я продолжал рассматривать рисунки. Третий памятник был так же необыкновенен, как и два первых.

Пять матросов, взявшись за руки, шли гурьбой и смеялись. Посредине шел Матюшенко. Руки его были беззаботно засунуты в карманы. Справа от него шли Частник и матрос Петров, поднявший восстание на транспорте «Прут», слева — боцман в помятой морской кепке и маленький вертлявый бретонец в шапочке с помпоном — матросы с восставшего в Севастополе французского броненосца «Жан Барт». Под памятником была надпись: «Vive les sowiets et la mer!»

Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джемсу Куку, Магеллану и Берингу.

Потом я перешел к наброскам морских коньков и буревестников, которые украшали городские фонтаны.

Наконец я увидел проект памятника старым морякам. Это был настоящий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Перед его носом кипели буруны. Их изображали заросли белых ромашек. По сторонам бортов струилась морская вода — ковры фиалок и других синих цветов.

Люди с бакенбардами стояли у планшера и курили трубки. Обезьяны висели на хвостах на реях, и попугаи качались в привязанных к вантам клетках.

На пьедестале была вычеканена надпись: «Что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану».

Прекрасное прошлое, создавшее среди моряков традиции мужества и свободы, прощалось в этом памятнике с шумящим вокруг сегодняшним днем.

После памятников я рассматривал рисунки, изображавшие отдельные уголки города, перекрестки, площади и каменные трапы.

Это был Севастополь. Я узнавал его. Но вместе с тем это был совершенно новый, гораздо более радостный город. Множество зелени и шумящей воды наполняло его. Сигнальные мачты с флагами подымались над домами. Издали такой город должен был производить впечатление громадного флота, бросившего якорь у берегов Крыма.

Вся история города и его революционных дней, память о людях, связанных с Севастополем, память о море — все это было слито на рисунках Сметаниной со зданиями, улицами и набережными города.

— Что это все значит? — спросил я наконец.

— Будущий Севастополь, — ответила Сметанина. — В свободное время я перекраиваю облик этого города. Каждый город должен иметь свое лицо. Нет ничего скучнее казарменных домов, которые понастроили пять лет назад, одинаковых вывесок и названий улиц. Нет ничего глупее желания окраинных городов убить свое своеобразие и ничем не выделяться из ряда других городов. С этим выхолащиванием жизни и порчей массового вкуса надо неистово бороться.

Я не спорю — в этих проектах много романтики. Но осуществите ее — и она превратится в реальность. Все это можно будет видеть и осязать. Эти вещи войдут в быт, в сознание, они привьют любовь к своему городу и тем самым к своей социалистической родине.

Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать, а не заболеть неврастенией и трамвайным бешенством.

Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспективы, — чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух.

Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. Иначе не может быть. В городах живут люди нового времени. Здесь рождаются гениальные идеи и создается будущее. Нужно, чтобы город не угнетал сознание, чтобы мы не мирились с ним, как с необходимостью, чтобы мы не ненавидели его как нечто, что сокращает жизнь, а приходили в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы.

Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. Иные думают, что превратить какую-нибудь Епифань в социалистический город очень просто. Надо только переименовать улицы, построить скучные, как российское прошлое, бараки, триумфальную арку подешевле и еще что-нибудь в этом роде — и новый город готов.

Тех, кто так думает, нельзя подпускать на пушечный выстрел к строительству новой жизни. Пусть они раньше научатся понимать сущность будущего и перестанут оскорблять его своими вкусами, воспитанными в тупой царской России.

Почему, например, у нас не ставят памятников лучшим рыбакам, лучшим водолазам и, наконец, литературным героям? А я бы ставила. Я поставила бы памятники Гулливеру, Тиллю Уленшпигелю и матери из повести Горького.

Я улыбнулся, но Сметанина не заметила этого.

— Севастополь — город моря и революции. Здесь об этом должен говорить каждый камень. Здесь есть окраины на берегу бухт. Побывайте там. Вы увидите вытащенные на сушу дырявые барки и допотопные катера. Из земли торчат лапы якорей. В кузовах барок пробиты двери и окна. Дым ползет из жестяных труб камбузов. Собаки, привязанные к мачтам, подымают неистовый лай.

Конечно, людей надо выселить оттуда, а вокруг этого кладбища судов разбить цветники. Дети будут играть на шхунах, и все это место мы назовем Старым корабельным парком. Он разрастется. Мох покроет толстые кили, а ветер будет бить ветками деревьев о старые днища, выдавшие виды в морях.

— Ну что ж, — сказал я. — Все это прекрасно, но пока это область фантазии.

— Вы ничего не понимаете! — ответила Сметанина. — Никаких фантазий здесь нет! Это так же легко осуществить, как построить казарму из кирпича. Вы подумайте, как весело

будет идти эта работа. Она будет ощущаться так, как ощущается работа по устройству своей библиотеки, кабинета, мастерской. То, что сейчас втиснуто в четыре стены, будет распространено не на одно мое замкнутое жилье, а на весь город. В этом я вижу один из прекрасных признаков коллективного общества.

— Я ничего не могу возразить, — ответил я.

— Ваши возражения меня мало интересуют. Все вы занимаетесь хотя и тем, чем нужно, но не так, как нужно. Что за смысл писать хорошие вещи, но не уметь осуществить их в жизни?

Сметанина помолчала.

— Вы хорошо знаете Гарта? — спросила она неожиданно.

— Да, уже несколько лет.

— Он талантливый человек?

— Конечно.

— Вот это меня и злит. — Сметанина в упор посмотрела на меня. — Чем талантливее человек, тем больше у нас обязательств перед ним. Нельзя позволять таланту уничтожать себя вздорными и убивающими душу мыслями. Вот Гарт. Еще до революции он внушил себе, что в России ни при каких обстоятельствах не может произойти ничего умного и прекрасного. Все интересное, по мнению Гарта, может случаться только в тропиках, на девственных островах и в экзотических городах, полных тайн, отважных моряков в необыкновенных женщинах. Всю силу таланта он тратил на гениальные игрушки, а жизнь шла мимо. Ни Гарт на нее, ни она на него не обращали внимания. Во всяком случае, так было до последних лет. Талант сгорал, как щепка, а не светил сильно и упорно, как солнце. Вы утверждаете, что любите его талант. Что же вы сделали, чтобы спасти его?

Я молчал.

— Ничего вы не сделали! Неужели трудно взять человека за руку, вывести из прокуренной комнаты и показать, что жизнь ничуть не уступает его выдумкам?

— Он сам вышел из этой комнаты, — сказал я.

— Ну конечно, — спохватилась Сметанина. — Вы правы.

— Почему вы заговорили о Гарте? — спросил я Сметанину. — Какая связь между Гартом и новым Севастополем?

Сметанина молчала. Мне хотелось услышать от нее самой подтверждение собственных догадок. Поэтому я решил быть настойчивым.

— Я знаю, что связь есть, — сказал я.

Сметанина молча собирала рисунки.

— Раз вы молчите, — продолжал я, чувствуя, что вторгаюсь в запретную область человеческих отношений, — так я скажу за вас.

— Как хотите, — промолвила Сметанина.

— Как вам известно, — сказал я, — все рассказы Гарта происходят в двух выдуманных приморских городах — Саванне и Кастле. Таких городов нет и не было.

— Но они будут! — воскликнула Сметанина.

— Ну хорошо, они будут. Но это пока не существенно. Я видел у Гарта планы этих городов. Они замечательны: Города эти изрезаны морскими проливами. Их пересекают полноводные реки. Их окружают розовые холмы, леса и равнины, покрытые высокой, примятой морскими ветрами травой. На равнинах лежат глубокие озера.

Окрестности этих городов разнообразны, дики и величественны. Эти места хороши тем, что непроходимые леса подходят к самому океану. В этих лесах вы, между прочим, можете встретить человека, сидящего на пне и читающего «Одиссею» Гомера..

Но интереснее всего не окрестности, а самые гартовские города. Судя по оброненным им словам, их можно представить себе так: приморский город с лестницами вместо спусков, с уютными гаванями и голубятнями разноцветных домов брошен на произвол судьбы. Люди из него уходят. Через двадцать лет город зарастает до крыш буйной растительностью и одичавшими цветами, забытыми человеком.

Тогда люди возвращаются. Они прорубают в зарослях проходы к домам, превратившимся в горы шумящих листьев. Они открывают окна и впускают в дома солнечный свет.

Холодные ручьи бегут по улицам и перекатывают груды морских ракушек. Стучат молотки, и поют пилы. Верфи оживают и начинают пахнуть опилками. Дети хохочут и ни в чем не отстают от мечтательных девушек.

Капитаны и матросы гремят по песчанику мостовых подкованными сапогами. Парусные мастера зашивают в кромки гротов и марсов платки с изображением якорей и весел. Эти знаки соответствуют подписям художников под картинами.

По вечерам газ шипит в фонарях. Зеленый его свет борется с шумной темнотой, с крепкой, как рассол, океанической ночью. Таковы города Гарта. Но их нет и не будет. — Они будут, — упрямо повторила Сметанина. — Они будут, но, конечно, не такие старинные. Без газовых фонарей, без деревянных шхун, но со всей их тишиной и легкостью жизни.

— Мне так же, как и вам, — ответил я, — хочется, чтобы они были. Но их пока нет. И вот вы решили по-своему спасти Гарта. Я представляю ход ваших мыслей так. Гарт ушел от действительности» и выдумывает фантастические страны и города. Вместо этого мы дадим ему увлекательную и благородную работу — бороться за создание нового Севастополя. Ну, не Севастополя, так другого города. Так? Гарт приобщается к действительности, к борьбе, входит в гущу жизни как полноправный строитель своей замечательной страны. Правильно?

— Да, — согласилась Сметанина.

— Чтобы сберечь, как вы сказали, его талант, вы занялись разработкой этих проектов. Вы втянете в это дело Гарта, и он с радостью на него пойдет.

— И все будет прекрасно, — сказала с облегчением Сметанина.

— Нет, — ответил я. — Ничего прекрасного не будет.

Сметанина даже вздрогнула:

— Почему?

— Гарт должен писать, — ответил я. — Его силы ограничены. Вы не должны втягивать его в эти дела. Он сделал в прошлом все, что мог, и сделал блестяще.

— Что же он сделал?

— Он внушил вам своими рассказами о выдуманных городах мысль о создании нового, невыдуманного Севастополя. В этом была его нужная нашему времени задача. Оставьте ему возможность делать свое дело, а вы делайте свое. Вы будете создавать новые города, а Гарт будет бросать в умы жажду деятельности во имя веселой и осмысленной жизни. Я начинаю думать, что до сих пор Гарт был просто не понят. Это все, что я хотел сказать. Еще только один вопрос. Вы будете всерьез бороться за создание нового Севастополя?

— Да. Я от этого не отступлюсь никогда.

— Значит, Гарт добился своего, — сказал я, закуривая. — Вот теперь я могу сказать, что все действительно будет прекрасно.

— Я не совсем еще разобралась в ваших словах, — сказала Сметанина, — но, кажется, вы правы. Какой все-таки, силой обладает Гарт!

— Не Гарт, а искусство, — осторожно поправил я.

На этом наш разговор окончился. Я скоро ушел. Дождь шумел над улицами. Белая известковая вода, сливаясь в море, журчала по обочинам тротуаров, как журчат у нас на севере лесные родники.

## ВЕСЕЛЬЕ И ГОЛОД

Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал.

Яличники с Северной стороны прозвали капитана Баранова «Очевидцем». В это слово яличники, считавшие себя знатоками морских событий, вкладывали всю язвительность, на какую были способны.

Зависть грызла их седые сердца. Законная зависть мучила яличников, потому что Баранов славился редкой особенностью — этот человек действительно был очевидцем многих замечательных случаев и событий.

Я провел с Барановым много дней и вечеров в Севастополе, Новороссийске и Одессе. Я часто бывал в каюте его старого буксира «Смелый».

И капитан, и корабль, и команда были как будто нарочно подобраны по черноморским портам. Это была веселая и неунывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны.

Начнем с корабля. Во время дождей буксир был слышен. Именно слышен издалека. Десятки дождевых струй лились через дырявую палубу в жестяные тазы и банки от консервов, подвешенные в местах наибольшего скопления воды.

По слухам, «Смелый» плавал последнюю зиму перед отправкой на корабельное кладбище. Вид его никак не соответствовал растущей морской мощи Советского Союза. Но людей, распространявших эти слухи, Баранов называл «подозрительным элементом».

Старый буксир имел заслуги перед революцией. По мнению Баранова, даже отслужив срок, он должен был пойти не на кладбище, а в несуществующий еще корабельный музей.

Буксир носил обидное прозвище «Пожар в бане». Вызвано оно было тем, что труба буксира дымила так, как может надымить весь английский флот, если его топить мусором.

Радио буксиру было не нужно. О его приближении узнавали по туче дыма, застилавшей горизонт. Во всех портах «Смелый» встречали дружелюбно и насмешливо.

Баранов ругался с «духами» — кочегарами, но «духи» ссылались на старые котлы и проклинали уголь. Это был не уголь, а самый «подлый штыб»! Как только они начинали шуровать в своих топках, дым подымался, как извержение, над притихшими от изумления берегами.

В конце концов пришлось примириться с этим и создать для собственного успокоения шутовскую теорию, что с «густым дымом плавают честные моряки, а не какие-нибудь контрабандисты».

Но эти мелочи плавания мало смущали Баранова. Один только раз он был раздосадован, когда буксир приткнулся на мель у Скадовска. В судовой журнал пришлось занести неприятные строчки:

Вследствие собственного густого дыма потеряли из видимости берега и вежу, ограждающую отмель, и коснулись дном грунта».

Внешность Баранова никак не соответствовала представлению о беспокойном капитане. Это был старик с лицом актера, играющего несчастных и благородных отцов. Говорил он прекрасным, но хриплым басом со множеством интонаций. В молодости Баранов учился пению в Италии у забытой и престарелой знаменитости.

Баранов был не молод, но строен. Только желтоватые белки глаз и седина говорили о склерозе и старости.

Биография его была неисчерпаема. Бесперывно я узнавал то от него самого, то от окружающих все новые черты из жизни этого привлекательного человека.

В детстве он бежал из дому в Одессу и поступил юнгой на грузовой пароход. В Италии он скрылся с парохода и поступил в рыбачью артель.

Потом Баранов плавал по Адриатическому морю на старых катерах, ходивших часто, как дилижансы, от Венеции до Бриндизи.

Страстность Италии, кипучесть ее языка, веселье и подвижность остались у Баранова на всю жизнь.

В Италии Баранов бросил морскую службу. Он бедствовал в Анконе, учился бесплатно пению, зарабатывал гроши игрой на скрипке. Он становился в порту под мраморной триумфальной аркой, воздвигнутой Траяном, и играл и пел кантилены и баркаролы. Он сдружился с городской беднотой, с бродягами и тряпичниками, портовыми девушками и карточными шулерами. Эта полоса жизни отучила его от мягкой койки и дорогого хлеба.

После бродяжничества по Италии Баранов вернулся в Россию и поступил певцом в

провинциальную оперу. Он изъездил всю страну. Кажется не было такого городка — от Фастова до Елабуги и от Вельегонска до Армавира, — где бы он не играл.

Во время своих актерских скитаний Баранов начал переписку со Львом Толстым. Он убеждал его бросить занятия философией и написать перед смертью вещь, равную «Анне Карениной». Он ругал в письмах Толстого «слащавым чудачком» и получал ответы, полные христианского смирения. Баранов хранил их у себя в столе завернутыми в черный платок.

Актерская жизнь скоро надоела Баранову. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном пожарного парохода в Одессе.

В 1905 году в Одессу пришел восставший «Потемкин». Портовые рабочие хотели присоединиться к «Потемкину» и начать в городе восстание. Тогда полиция устроила пожар и погром в порту, чтобы отвлечь рабочих от мысли о восстании. Сотни громил, испитых и охрипших от ругани, устремились в порт. Горели пакгаузы.

Баранов, вопреки намекам начальства о необходимости ничего не замечать, подошел на своем пароходе к толпе, грабившей пакгаузы, и начал поливать ее горячей водой из пожарных брандспойтов. Погром прекратился, но одному Баранову не под силу было справиться с ним. Погром вспыхнул в другом месте.

Баранов знал Матюшенко и видел встречу восставшего «Потемкина» с Черноморской эскадрой. На своем пароходе Баранов доставлял восставшему броненосцу провизию и воду.

Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и «Моряке».

С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету.

После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня выдала нам из сострадания кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов — розового, зеленого и сиреневого.

На обороте этих бандеролей мы печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням (тогда выходных дней еще не было) мы выпускали «Моряка» на белой бумаге такой толщины, что газета не печаталась на ней, а выдавливалась, как книга для слепых.

Старые газетчики в первый же день выхода «Моряка» создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими ногами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали:

— Газета «Мрак»! «Мрак»—газета!

«Моряк» разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати.

После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «Мрак», а «Морак». Им было все равно. Какая разница! Разве это была жизнь! На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила пятьдесят рублей, а за эти пятьдесят рублей можно было купить на базаре... двадцать спичек, вот что можно было купить на базаре!

В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни, — от истории кораблекрушений и революционной хроники заграничных портов до стихов Тристана Корбьера и рассказов Катаева.

В газете было шестьдесят сотрудников — журналистов, капитанов, писателей, масленщиков, корабельных инженеров, лоцманов, матросов, гальюнщиков и поэтов.

В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболев. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим.

Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью

стихи о римлянах, истекающих кровью.

Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его.

Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами, — крикая от наслаждения.

Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.

Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи.

Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом.

Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтами гроз.

Почему именно из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакций «Моряка» сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова:

— В Одессе много солнца, много моря, и вы увидите — в Одессе будут свои Мопассаны!

Одесса — это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негоцианты из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики — банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это — Одесса.

Но главное — море. Баранов был прав. Черное море выбросило в жизнь этих писателей, как дарит берегам самые разнообразные вещи — от поющих раковин до сорванных с якорей плавучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы.

Кроме писателей, в «Моряке» работали два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета.

Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа.

Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы.

Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом.

В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от «любителей литературы».

Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской жизни решил переменить профессию и поступил матросом на шхуну «Паванна».

Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко — херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя,

достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании.

Подбельский начал плавать на «Паванне» между Одессой, Хорлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загорелый и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре не подходящие к его интеллигентной внешности крепкие морские слова.

Через два месяца его арестовали вместе со всей командой «Паванны» и выслали из Одессы. Обнаружилось, что «Паванна» занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой:

Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника, но, наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились.

Владельцем «Паванны» в то время был единственный сын Достоевского — Федор Федорович Достоевский, бывший, игрок на бегах.

Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с холеной наружностью барина. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили: «Это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко бросал: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца».

Харито называл Подбельского идиотом. Если б ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы вытянуть из него все, что сын знал об отце.

Из моряков — сотрудников газеты — самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов.

Боцман Миронов писать не мог. Он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных фактов.

Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они.

— Вот это ребята! — говорил он. — Способные до писания чудаки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко — Лондона я не застал. Приехал к нему на ранчо, а он уже отравился. Жену видел. Грубая женщина, ее бы к нам на Привоз торговать пирогами.

Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика.

Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара — целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением.

В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину.

Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Польша росла на трамвайных путях и на руинах богатых дач в Аркадии и Ланжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега — это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами.

Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом, полно запаха морской травы и степей, полно голода с его легкостью тела и мыслей.

Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт, где старики удили рыбу, напоминала о блокаде. Только стаи скумбрии — веселой средиземноморской рыбы — прорывали ее. Скумбрия приходила из Мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.

## **СКРИПКА МАСТЕРА РАВИКОВИЧА**

Как-то в свободный день я пошел с Барановым на Сухой лиман удить бычков. Мы



тащили с собой две дыни — небогатую пашу пищу — и бамбуковые удочки.

Мы шли в степи по заросшим лебедой трамвайным путям.

Порванные провода свисали с мачт. Жаворонки бегали по шпалам. Степь шла широкими и жаркими волнами. Сквозь тощую ботву затоптанных огородов темнело море, налитое до краев в глинистые красные берега.

Дорога была пустынна. Только под Люстдорфом мы догнали старого еврея. Он шел с непокрытой головой и, не замечая нас, играл на скрипке. Ветер ворошил его жидкие волосы и сносил на сторону седую бороду.

Мы шли следом за ним и молча слушали. Мы давно уже отвыкли от музыки. Пение скрипки в раскаленной степи было так неожиданно, что знакомая мелодия из «Риголетто» казалась невероятной, как если бы я услышал над морем голоса сирен.

Баранов уронил дыню. Скрипач оглянулся на нас и отнял смычок.

— Это пустыки, — сказал ему смутившийся Баранов, — Играйте, пожалуйста! Мы не хотели вам мешать.

— Вы не бандиты? — спросил старик и зажал скрипку под мышкой.

— Чего вам, старому и бедному человеку, бояться бандитов?

Старик тихо засмеялся.

— Мне их надо бояться, молодые люди, больше, чем банкиру Ксидиасу. Много больше мне их надо бояться. Вот!

Он потряс перед нами скрипкой. Это была обыкновенная коричневая скрипка с тусклыми пятнами на деке в тех местах, где сошел лак.

— Вы сказали, что я бедный человек. Нет! — крикнул старик. — Я богач! Я миллионщик! Я хожу с карманами, набитыми золотом и бриллиантами! Вы знаете, кто делал эту скрипку? Исаак Равикович делал ее, молодые люди! Старый Исаак с больными руками делал ее три года. Она такая тонкая, что отзывается, когда у кого из соседей упадет тарелка или заплачет ребенок. Кто такой старый Исаак — вы хотели меня об этом спросить? Если бы вы были в Италии...

— Я был в Италии, — сказал Баранов.

— Вы! — крикнул старик и всплеснул руками. Скрипка сверкнула на солнце, как коричневая короткая молния. — Дай вам бог счастья! Вы случаем не видели город Кремону?

— Я был в Кремоне, — невозмутимо ответил Баранов.

Скрипач протянул ему руку. Он жал смуглую ладонь Баранова и заискивающе заглядывал ему в глаза.

— Так вы должны знать, что в этой Кремоне жил итальянский скрипичный мастер Страдиварий. Каждая его скрипка стоит десятки тысяч рублей. За что платят люди такие деньги? За вот этот кусок фанеры или за старые жилы? Нет! Люди не такие дураки. Кто знает, почему это дерево поет, как могут петь только ангелы! Кто их видел, ангелов, я не имею понятия, но так принято выражаться, извините меня.

Когда этот итальянец пробовал свои скрипки, мостовую около его дома закидывали соломой, чтобы он хорошо слышал, как поет каждый кусочек дерева. Не дай бог хлопнуть дверью или, положим, вылить на улицу ведро грязной воды.

А старый Исаак пробовал скрипки ночью. Жильцы ругали его последними словами и жаловались хозяину, что он не дает им спать. Разве можно с них что-нибудь спрашивать! Нищие люди! Где им было думать о музыке, когда надо прожить день с одним куском черствого хлеба.

— Кто этот Исаак Равикович? — спросил Баранов.

— Это наш одесский Страдиварий, — ответил старик. — Вот я хожу по городу, по базару и по степи и играю на его скрипке. Закажите, что вам сыграть. Нет, я сыграю вам итальянское!

Старик заиграл. Легкий человеческий голос запел в темном маленьком трюме разошедшей скрипки. Баранов сел на землю и слушал. Потом он начал подпевать скрипке:

Настроена гитара,  
О друг мой, в честь твою  
Всего земного шара  
Я песни пропою.

Старик играл и смеялся. Белые тесемки свисали из-под его рыжих брюк на ссохшиеся ботинки. Рваный пиджак распахивался от каждого движения смычка. На пиджаке не было ни одной пуговицы.

— Вот! — сказал скрипач, окончив играть. — Теперь вы слышали, что это за инструмент! Это инструмент Исаака Равиковича — великого старика. Но между прочим, никто даже не найдет его могилу на Новом еврейском кладбище.

Он жил один и умер один. Был у него только я — Моисей Чернобыль. Мне он подарил последнюю скрипку. Кто пришел на его похороны, вы спрашиваете? Я, старуха Маня — его соседка, и еще профессор Московской консерватории, — я забыл его знаменитую фамилию. Он сказал мне: «Моисей Лазаревич, вот мы потеряли с вами гения, а не человека. Никакая душа в этой жизни не будет о нем знать, потому что бедность прячет людей в угол лучше самого осторожного вора. Идет революция, — так он сказал, — и разве маленькая скрипка может перекричать ружья и пушки, когда они стреляют?» — «А не думаете ли вы, — спросил я его, — что скрипка будет петь и для революции и через пушечный грохот ее кто-нибудь да услышит?» — «Нет, — сказал он, — я так не думаю, Чернобыль!»

Я ему не поверил, молодые люди. Я оказался умнее этого профессора консерватории.

Старик сел рядом с нами на землю. Зной мутным соком струился по горизонту.

— Что имел старый Исаак за свои скрипки? Раз в месяц он кушал рыбу и высох, как метла от работы. Что ему платили? Жалкие, паршивые рубли! Скрипач молчал.

— Я неплохой музыкант. Может быть, потому, что у меня нет жены и детей. Я до старости дожил как сирота. Я играю сколько хотите. Я люблю играть людям.

При Деникине я тоже играл в ресторане «Желтая канарейка» на Херсонской улице. Но как приходили офицеры, хозяйка Павлович зазывала меня в заднюю комнату и говорила: «Посидите пока тут, Моисей. Сейчас им Люся будет играть на рояле». — «Что такое? — спрашивал я. — Разве господа офицеры не любят скрипичной игры?» — «Вы дурак, Моисей, — говорила мадам Павлович. — Вы старый ребенок, Моисей, и я имею к вам жалость. Они любят свои права и аксельбанты, и больше ничего. Сидите тихо и ешьте свой ужин».

И я сидел, спасибо этой доброй женщине. Но я досиделся. Один раз заходит в заднюю комнату старый морской офицер. Он увидел меня и спросил: «Что ты тут делаешь, дорогой Арончик?» Он был пьяный. «Я не Арончик, — ответил я, — а скрипач, и зовут меня Моисей Лазаревич Чернобыль». — «Вот как! — сказал он. — Может быть, вы сыграете нам, уважаемый Моисей Лазаревич, «Так громче, музыка, играй победу!»?»

Мадам Павлович делает мне знаки глазами, но я отвечаю тихо, что не умею играть эту офицерскую песню.

Тогда он берет со стула скрипку, подымает над головой и смеется. «А «Интернационал» ты умеешь играть, жидовский Кубелик?» — спрашивает он и замахивается на меня скрипкой.

Тут вся моя кровь, — а вы посудите, сколько много ее у такого еврея, как я, — тут вся кровь ударила мне в глаза, и я подумал: или ты, Моисей, будешь дрожать, как собака, перед этим человеком, или нет. Тогда я крикнул ему: «Да, «Интернационал» я умею играть. Я сыграю его, когда вы через неделю будете драпать из Одессы, как крысы, сыграю над вашей свежей могилкой, господин капитан».

Он опять замахнулся на меня скрипкой, но я схватил смычок и ударил его по глазам.

Ну, что! Вы интересуетесь знать, что было? Ничего не было! Меня били в контрразведке и бросили в подвал. И, верьте мне, я не думал за себя, а думал за скрипку — хорошо ли спрятала ее мадам Павлович.

На четвертый день пришли большевики. Они выпустили меня. Комиссар сказал мне напоследок: «Катись отсюда! Играй и будь здоров, Чернобыль. Не путайся у нас под ногами — и без тебя есть большие дела». Я ушел. С тех пор я хожу, играю во всех тех местах, где людям от этого делается хорошо, и ни у кого не путаюсь под ногами. Я жду. И я дождусь своего счастья.

Расстались мы со скрипачом на берегу Сухого лимана. Я размотал удочки, закинул их, лег на горячий песок и закрыл глаза. Синие и оранжевые шары понеслись, пересекаясь, в красноватой темноте. Кончилось тем, что я уснул.

Разбудили меня осторожные толчки в плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял скрипач.

— Вот я и вернулся, — сказал он. — Ой, какой вы неосторожный молодой человек! Кто же спит на солнце!

Он присел рядом со мной на корточки и неожиданно спросил:

— Вы грамотный по-русскому?

— Да.

— Так напишите мне на бумаге хорошими словами то, что я вас попрошу.

Я согласился.

Старик вытащил мятый бланк «Русского общества пароходства и торговли». Обгрызенным карандашом я написал под его диктовку следующие слова:

*«Я, Моисей Лазаревич Чернобыль, проживающий в Рыбачьей балке, по занятиям скрипач, сильно болею чахоткой, как и мои мать и отец, и пишу это письмо насчет последней скрипки старого мастера Исаака Равиковича. Скрипка эта моя. И в случае смерти — как нет у меня ни жены, ни малых детей — прошу комитет партии подарить ее лучшему скрипачу нашего замечательного города. Пусть он бережет ее и играет на счастье людям, что не жили, а мучились сколько лет! Только прошу до скрипки не касаться лаком! Теперь лак делают совсем паршивый, а от лака зависит хороший звук.*

*С почтением Моисей Чернобыль, 59 лет».*

В Севастополе в каюте «Смелого» мы вспоминали с Барановым Одессу и Моисея Чернобыля, писателей и газету «Моряк».

— Да, — сказал Баранов, — перебираешь собственную жизнь и не веришь, что все это было. Прекрасные годы мы пережили. Надо бы записать, да вот — нет времени, все вожусь с этой проклятой коробкой. Работаю я по подъему затонувших судов — еще со времени поисков «Черного принца», помните? Эй! — крикнул он на палубу. — Кто там травит пар? Воздух отапливаете, черти!

Баранов проводил меня до трапа.

Густые сумерки спустились на Севастополь. До полной темноты осталось несколько минут. Это ясно ощущалось по огням, цвету воды и по особой звонкости воздуха. Колочие звезды автогена зашипели на палубах кораблей, поставленных в ремонт. Они затопили сумерки трескучим сиянием.

— Никуда не хочу уходить с этой коробки, — сказал напоследок Баранов. — Должно быть, и умру здесь. Предлагали мне уйти на теплоход, да ну его к шуту! Стар стал. Не люблю я пассажиров. Не наше это дело, возить тубетеечников. Здесь и к морю ближе, и проще, и в свободное время в каюте полежишь, считаешь. У меня на коробке библиотека прекрасная. Приходите, читайте.

Когда я спустился на берег, он крикнул мне с палубы:

— Дня через два пойдем буксировать «Днепр». Достаньте разрешение, — я вас прихвачу с собой. Слыхали про «Днепр»?

— Слыхал, — крикнул я в ответ.

— Ну то-то!

Возвращаясь домой, я вспомнил все, что знал о «Днепре». С этим пароходом было связано одно из замечательнейших происшествий, когда-либо случавшихся на Черном море.

## ГОРОХ В ТРЮМЕ

Через два дня я вышел на «Смелом» к Босфору, где Экспедиция подводных работ снимала с рифов океанский пароход «Днепр». «Смелый» должен был отбуксировать «Днепр» в Севастополь.

Мы шли, чуть покачиваясь в тумане. Зима чувствовалась во всем — в коротком дне, запахе снега и рано зажигающихся сигнальных фонарях.

На «Смелом» в связи с аварией «Днепра» было много разговоров о кораблекрушениях и морских опасностях.

Морская профессия еще и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать. Появление пара, радио, жирокомпасов, водонепроницаемых переборок и других приспособлений только уменьшило риск, но море осталось прежним — с такими же двенадцатибалльными штормами, мелями, туманами и опасными течениями.

У кораблекрушений есть свои законы. Большинство судов терпит аварии вблизи берегов, попадая на мели и подводные камни. Гибель судов вдали от берегов случается редко. В открытом море суда могут погибнуть от столкновения друг с другом или с плавучими льдами, от пожаров и реже всего от бурь.

Моряки различают в деле аварий «тяжелые» и «легкие» годы. В тяжелый год терпит аварию примерно один из каждых четырех пароходов, плавающих по морям.

Разговоры происходили в каюте Баранова.

Особенно любил «потрепаться» водолаз Медлительный — маленький человек с мокрыми усами. Он работал в ЭПРОНе (Экспедиции подводных работ особого назначения) несколько лет и обучил за это время водолазному делу несколько десятков молодых советских водолазов.

Один из его учеников, комсомолец Петя Мухин, плыл с нами на «Смелом». Между учителем и учеником происходили постоянные добродушные стычки. Ученик обвинял учителя в консерватизме и хвастовстве.

Медлительный, как все старые водолазы, был привержен прежним порядкам водолазной работы и строптив. Он долго не мог примириться с подводным телефоном и ни за что не хотел им пользоваться. Он предпочитал давать сигнал по старинке, дергая конец. Целый год он спускался под воду с телефоном, но не хотел вымолвить по этой «деликатной штуковине» ни слова. Тогда молодые водолазы решили его проучить.

Однажды Медлительный дернул за сигнальный конец, чтобы его подымали. В ответ сразу закричали по телефону: «В чем дело? Давай сигнал разборчивей!» Медлительный дернул второй раз. Ему снова крикнули, что сигнал не понят. У Медлительного зажалось шланг, подающий воздух. Он задыхался, но не хотел сдаваться. Он синел, сопел, кровь гудела в ушах, он беспрерывно дергал конец, но сверху все кричали в чертов телефон, что они не понимают сигнала.

Тогда Медлительный не выдержал и заревел в телефонную трубку, собрав остаток ярости:

— Подымай, черти! Мне плохо!

Его немедленно вытащили. С тех пор Медлительный начал исправно говорить по телефону.

Медлительный прославился тем, что как-то заснул под водой на палубе затопленного под Новороссийском миноносца. Но и во сне он время от времени машинально нажимал затылком клапан, выпускающий испорченный от дыхания воздух.

Медлительный и Мухин олицетворяли два разных типа водолазов.

Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе ценилась только физическая сила. В иных иностранных флотах до сих пор подбирают в водолазы людей, ломающих одной рукой подкову и весящих не меньше семи пудов.

О невероятной силе старых водолазов ходят легенды. В Батуми в первые годы

революции я встретил бывшего водолаза и циркового борца Зарембу. Ему сломали во время борьбы руку. Заремба бросил цирк и работал метранпажем в газете. Это был человек невероятной силы и незлобивости. Легким нажимом плеча он останавливал на ходу маховик печатной машины.

Он рассказывал наборщикам много историй из цирковой и водолазной жизни. Он боролся с Поддубным, со Збышко-Цыганевичем — чемпионом Варшавы и со Штейнбахом — чемпионом Баварии.

Но самой невероятной была история борьбы с человеком-зверем. Дело было на острове Крите, где стояло пять эскадр — английская, русская, французская, итальянская и турецкая. Заремба служил тогда во флоте водолазом.

Между матросами эскадр был устроен матч французской борьбы. Заремба положил всех. Турки обиделись и вызвали из Константинополя лучшего борца-водолаза. У него на груди, по словам Зарембы, висела табличка с надписью: «Нечеловеческая сила. Мне бороться с людьми запрещается». Под надписью была печать султана.

Заремба струсил, но положение обязывало принять бой. Боролись в дощатой таверне, превращенной в цирк. На десятой минуте Заремба свалил турка. Когда турок упал, треснул пол. Эскадры приветствовали Зарембу сигналами по международному коду.

Таких легенд о силе водолазов я много наслушался и от Медлительного.

Петя Мухин был водолазом советской выучки. Он окончил водолазную школу в Балаклаве. Этот худой, маленький юноша, которого, по словам Медлительного, можно было перешибить папиросой, под водой работал быстрее и находчивее своего неуклюжего учителя.

Решение отказаться от водолазов-силачей пришло после работы японских водолазов над подъемом «Черного принца».

Низкорослые и слабые на вид японские водолазы ныряли на громадную глубину, двигались по дну с невероятной быстротой и проводили под водой почти вдвое больше времени, чем наши водолазы. Японцы работали в легкой маске и тонком шерстяном белье. А наш водолаз-силач за пять — семь минут с трудом делал по грунту несколько шагов.

Мухин и Медлительный только что вернулись с Балтики, где был найден броненосец береговой обороны «Русалка», таинственно погибший в 1893 году.

Первым наткнулся на «Русалку» Мухин, но Медлительный, на правах учителя, чувствовал себя героем гораздо больше, чем Мухин. Он надоел нам бесконечными рассказами о «Русалке».

На «Смелом» я слышал много рассказов о кораблекрушениях, но больше всего меня поразила гибель «Русалки». Из тяжелых историй, связанных с царским флотом, Цусима и гибель «Русалки» были самыми нелепыми и потрясающими. Старые броненосцы береговой обороны и мониторы — это были плавучие крепости с покатою палубой, выдающейся над водой только на два фута. Они строились для плавания около берегов, в шхерах, на озерах, вообще в спокойных и мелких водах.

Постройка этих броненосцев началась после войны южных и северных штатов в Америке. Во время этой войны мониторы появились впервые. Их толстая броня, мощные пушки и способность проскакать всюду, победа мониторов северян над флотом южных рабовладельческих штатов — все это создало о мониторах мнение, как об исключительно грозных боевых кораблях.

Забыли только о том, что мониторами северян командовали отчаянные моряки, лишенные страха и полные ненависти к южанам, — знаменитые капитаны Варден, Роджерс и Флюссер. Их имена знакомы каждому грамотному американцу. Человеческие свойства были приписаны конструкции кораблей.

Когда американский монитор «Миантономо» пришел в гости в Кронштадт через Атлантический океан без единого повреждения, то решение строить мониторы превратилось у нас в манию. «Миантономо» шел осторожно, долго выжидал хорошую погоду, все его

люки, двери и иллюминаторы были наглухо задраены от проникновения забортной воды. «Русалка» была монитором американского типа. В сентябре 1893 года адмирал Бурачек приказал «Русалке», стоявшей в Ревеле, идти в Гельсингфорс и оттуда пробираться в Кронштадт. Около четырех часов «Русалке» надо было идти открытым морем. Поэтому вместе с «Русалкой» была послана канонерская лодка «Туча».

Осенью над Финским заливом часто проходят короткие бури. Начинаются они в полдень и бушуют до вечера. «Русалке» надо было выйти на рассвете, чтобы проскочить в Гельсингфорс до полудня. Но адмирал приказал выходить в девять часов утра, и броненосец не посмел ослушаться.

По обычной в царском флоте небрежности «Русалка» забыла на берегу деревянные крышки, которыми задраиваются во время шторма входные и световые люки.

Утро в день выхода «Русалки» было ветреное. Шел косой надоедливый дождь.

В десять часов утра сорвался шторм силой в девять баллов. «Русалку» начало заливать.

«Туча» под командой капитана Лушкова бросила бедствующий монитор и ушла вперед в Гельсингфорс. Лушков вез на канонерской лодке молодую жену. Он решил, что жизнь ее дороже жизни двухсот матросов «Русалки».

«Русалка» в Гельсингфорс не пришла. Лушков же, придя в Гельсингфорс, никому не сообщил, что им брошен в море гибнущий корабль, и вообще не сказал ни слова о походе «Русалки». Адмирал Бурачек не запросил Гельсингфорс, дошла ли «Русалка» до порта. Он уехал охотиться в окрестности Ревеля, на мызу курляндского барона.

Через два дня рыбаки с острова Сандхамн донесли, что море выбросило на берег разбитые шлюпки и спасательные пояса с надписью «Русалка».

Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфорскому полицмейстеру. Полицмейстер послал «отношение» командиру Гельсингфорского порта. Командир порта уведомил морское министерство. Министерство запросило адмирала Бурачека. Бурачек запросил капитана Лушкова. Наконец через три дня после явной гибели «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без вести» броненосца.

Поиски продолжались два месяца. Они окончились заключением следственной комиссии, что «Русалка» погибла около маяка Эрансгрунд. Загадочным казалось то обстоятельство, что с «Русалки» не всплыло ни одного трупа.

Страна волновалась. Гибель двухсот моряков была неотделима от бездарной эпохи. Здесь смешалось все — трусость и глупость начальников, безалаберщина и тупое равнодушие к живому делу и людям.

Царь выслушал доклад морского министра. Светлые глаза царя смотрели на министра со скукой. На рапорте о гибели «Русалки» он размашисто и не задумываясь написал синим карандашом: «Скорблю о погибших».

Страна волновалась. Газеты требовали расследования. По городам начался сбор денег для помощи семьям погибших матросов. Художник Кондратенко написал картину «Безмолвный свидетель гибели „Русалки“». На ней была изображена разбитая шлюпка на угрюмых, обдаваемых пеной берегах. Картина эта в снимках обошла всю Россию. Газеты сообщили об организации нескольких частных экспедиций для поисков «Русалки». Тогда морское министерство возмутилось: «шпаки» хотели вмешаться в его военные дела.

Был издан гласный приказ начать поиски «Русалки» и негласный — искать «Русалку» там, где ее заведомо не было. Поиски начались поздно, шли недолго и велись самыми нелепыми способами, например с воздушного шара. С шара дно моря видно на глубину четырех саженей, а «Русалка» затонула на сорокасаженной глубине.

Словом, все было сделано, чтобы «Русалку» не найти. Царь опасался, что похороны жертв «Русалки» могут вызвать новую волну возмущения.

Нашли «Русалку» через сорок лет советские водолазы. Они восстановили картину гибели корабля.

Когда начался шторм, вся команда спряталась внутри броненосца. Огромные волны били в корму корабля и перелетали через низкую палубу, ломая надстройки. Они вливались в открытые люки и горловины. О том, чтобы выйти на палубу, нечего было и думать — она вся скрылась под бушующими волнами.

Оставшиеся на верхнем мостике командир и штурвальные были крепко привязаны канатами к поручням.

Волны усиливались. Они начали перехлестывать через мостик. Вода попадала в трубы. В закупоренном броненосце, наполнявшемся водой, не хватало воздуха. Тяга в трубах упала, и машина начала сдавать. Это привело к тому, что волны обгоняли корабль и разрушали все, что находилось на палубе.

Броненосец все больше и больше набирал воду. Наконец водой залило топки, и машина стала. Тогда «Русалку» повернуло бортом к волне, опрокинуло, и броненосец пошел ко дну. Ни один человек не выплыл, потому что люди были или привязаны к поручням, или закупорены в стальной коробке броненосца.

Плавание на «Смелом» прошло незаметно. Через сутки мы подошли к «Днепру».

С этим океанским пароходом случилась авария, обычная у берегов Босфора. Он принял в тумане за вход в Босфор залив около мыса Кара-Бурну, вошел в него и сел на камни.

Это предательское место хорошо знакомо морякам. В пасмурную погоду оно приобретает поразительное сходство с Босфором и обманывает многих капитанов. Среди моряков оно носит имя «Фальшивого входа».

Вблизи берегов моряки ориентируются по виду и цвету гор. Пасмурность меняет их вид, а выпавший снег зачастую делает берега неузнаваемыми. Где раньше были черные тени от ущелий, теперь сверкает белизна, похожая на россыпи мела. Многие мысы — и в хорошую погоду схожие друг с другом — при снеге кажутся неотличимыми.

Моряку нужно острое зрение и способность по цвету берега, затянутого дымкой, определить расстояние от него до парохода. Кроме того, нужна крепкая память. До сих пор в виду берегов пароходы ориентируются по всяческим приметам — одиноким деревьям, генуэзским башням и прибрежным домам.

Баранов рассказывал мне, усмехаясь, о жалобах капитанов-иностранцев на быструю изменчивость советских побережий.

— Трудно плавать, — говорят они, — у берегов, где каждый год появляются новые приметы: силосные башни, антенны радиостанций, заводские трубы и электрические огни в заливах, бывших еще недавно совершенно темными по ночам.

Нигде вы не встретите такого точного описания примет моря и суши и столько разнообразных сравнений, как в лоции каждого моря.

Мысы делятся на приглубые, обрубистые и отмельные, похожие на руины, на пирамиды, на надгробные камни мусульманских кладбищ и на сахарные головы.

Но все же самая точная лоция, описывая берега, бессильна перед неожиданными переменами света, красок и прозрачности воздуха. Они превращают привычные контуры берегов в никогда не виданную страну.

Я испытал это на собственном опыте. О мысе Киик-Атлама, около Феодосии, в лоции сказано, что он похож на желтый горбатый остров, соединенный с морем низким перешейком. Но недаром моряки зовут его «Хамелеоном». Я видел этот мыс несколько раз, при всякой погоде. Каждый раз он представал в неузнаваемом и великолепном виде — то желтым и диким, выпукло отлитым на синеве далеких гор, похожих на грозовые тучи, то серым, как бы тлеющим после пожара, то черным, как сиенит, изрезанным синими провалами ущелий, то голубым, как лунный камень, то, наконец, розовым, чуть заметным в тумане, будто рисунок, плохо смытый с матового стекла.

Эта обманчивость берегов и вызвала аварию «Днепра».

Когда мы подошли к «Днепру», то увидели необычайное зрелище. Пароход был разломан на рифах. Нос отделился от кормы, и обе части парохода, снятые с камней

экспедицией ЭПРОНа, стояли рядом, покачиваясь на якорях.

Непроницаемые переборки не дали воде потопить разломанный пароход. Мы видели его разорванные борта и железные внутренности, висящие в воздухе. Так выглядят дома после землетрясения, когда через обвалившуюся стену видна комната с мебелью и даже посудой, забытой на столе.

Зрелище разорванного парохода было для нас неожиданным. Уходя из Севастополя, мы знали, что «Днепр» сел на камни и получил небольшую пробоину. Шторма не было, и волна не могла так бить его о камни, чтобы разломить пополам.

Но вскоре все разъяснилось. Трюмы «Днепра» были доверху нагружены горохом. В пробоину проникла вода и подмочила горох. Он разбух и разорвал с невероятной силой железные борта парохода, погнул переборки и вырвал шпангоуты.

Когда эта новость дошла до «Смелого», ей сначала никто не поверил. Матросы решили, что нас «разыгрывают». Водопады остроумия обрушились на эпроновцев. Их обзывали «звонарями», а их водолазную шаланду — «подносом с музыкой».

— Ну и невыносимо же брешут! — кричал белесый боцман со «Смелого». — Неестественно как заврались ребята!

Эпроновцы сначала посмеивались. Потом им надоело остроумие буксира, задымившего весь горизонт. Из рубки на водолазной шаланде вылез усатый старшина с вытаращенными, злыми глазами. Он плюнул и закричал:

— Чего квакаете без понятия! Это дело научное. Вы бы постыдились серость свою показывать перед всем Черным морем. Нашлись какие разумные — над наукой смеяться!

Неожиданное обвинение подействовало на команду «Смелого». Смех стих.

Когда матросы убедились, что пароход действительно разорван набухшим горохом, настроение переменялось и насмешки сменились удивлением.

— Ты гляди! — кричал тот же белесый боцман. — Шо такое зерно? Пустяк? Дунь — и ничего нету. А какую силу в себе имеет — океанские парохода рвет пополам, как гнилую веревку.

Но все же, когда «Смелый» брал на буксир носовую часть «Днепра», боцман не удержался и крикнул команде «Днепра»:

— Эй, вы, порватые горохом, потравите кончик!

С палубы «Днепра», перед тем как потравить конец, показали боцману кулак.

История с горохом вызвала усиленное любопытство к тому, как себя ведут под водой вещи.

Водолазы рассказывали, что лучше всего сохраняются под водой металлы и мука. Мука не превращается в тесто, как можно было бы думать, а покрывается тонкой плотной коркой и может пролежать в воде десятки лет. На «Малыгине» экспедиция ЭПРОНа пекла хлеб из муки, пролежавшей в затопленных трюмах ледокола около трех месяцев.

Такая же корка, как на муке, образуется на тертых в порошок красках. Они не растворяются и не окрашивают морскую воду во все цвета радуги, а лежат в трюме совершенно сухими много лет.

Железо покрывается тонкой ржавчиной — не больше миллиметра. Ее очень легко отбить и счистить. Прекрасно сохраняются сталь, медь, бронза и свинец.

Громадные судовые машины ничуть не разрушаются. На том же «Малыгине» машины три месяца стояли в воде, но после подъема ледокола их просушили, смазали, и «Малыгин» в полный шторм вернулся на своих машинах со Шпицбергена в Мурманск.

Только цинк в морской воде превращается в порошок.

С одного из затопленных в Новороссийске миноносцев водолазы подняли торпеду. Она пролежала в воде десять лет и считалась совершенно испорченной. Ее положили на пристань. Кто-то из любопытных нажал курок от сжатого воздуха, которым работают винты торпеды. Машина торпеды заработала с оглушительным свистом, винты завертелись, и торпеда поползла, как стальное чудовище, по деревянному пристанскому настилу.

Стекло, фарфор, дуб, красное дерево — все это сохраняется прекрасно. А чугун как бы



раскисает от воды. Первые несколько часов после подъема он очень мягок, не тверже свинца, но потом снова твердеет.

Обратно в Севастополь мы шли медленно. Среди моря нас прихватила мертвая зыбь. Жаль было уходить от синих анатолийских гор, остававшихся такими же загадочными, как и раньше.

К вечеру в кают-компани «Смелого» Петр Мухин завел патефон и поставил пластинку, поднятую со дна, с потопленного транспорта «Женероза».

Патефон хрипло пел незнакомую английскую песенку. Она поразила меня отчаянием, плохо скрытым под хвастовством и наигранным разгулом. Для меня эта песня звучала, как отходная неприветливой морской жизни Запада, как похоронное пение по последним традициям каторжного парусного флота:

В черный дождь и туман  
Уходил в океан  
Наш фрегат.  
И тогда закричал капитан:  
«Черт мне брат!  
Вгонит в рифы тайфун, —  
Все равно приплывем в Камерун!»  
Наплевать!  
Двадцать пять  
Стариков моряков  
Побожились давно,  
Что нам больше тебя не видать,  
Дом родимой страны,  
Даль родных берегов, —  
И пойдем мы ко дну  
Под холодную, злую волну.  
Двадцать пять  
Моряков-стариков  
Побожились об этом давно...  
Нам тонуть или жить — все равно!  
Нам на все наплевать  
Сорок раз и еще двадцать пять!

Баранов не выносил этой песни. По его словам, она воскрешала глупую лихость, которой гордился старый флот. Невежественные капитаны, злые, как цепные псы, угрюмые матросы, жившие от жратвы до жратвы, усталые и проклинаящие море, жулики арматоры — все это разрушало наивные мысли о прелести старинной морской службы.

Баранов хорошо знал моряков всех стран. Он с раздражением вспоминал прославленных английских моряков — бесстрастных и надменных. Лучшие, по его мнению, моряки

были турки и французы. Но больше всего он любил наших моряков — и полярников, и краснофлотцев, и моряков торгового флота — отважных, добродушных, чувствующих свое достоинство людей. Для них героизм был не чем иным, как будничной работой.

В Севастополь мы вернулись в спокойный зимний день. Ледяной воздух покалывал горло. Из рта шел легкий пар. Цвет неба сливался с цветом серо-голубых военных кораблей. В воде ныряли бакланы.

Любопытные яличники торопливо помчались к нам, как только нос «Днепра» с единственной мачтой показался в Северной бухте.

Баранов и команда «Смелого» приготовились к граду насмешек. Но зрелище разорванного океанского парохода было так величественно, что яличники забыли о

Баранове. Только на берегу один из них, самый кроткий и потому неудачливый, сказал:

— Ну и везет вам, товарищ Баранов. Опять попали в очевидцы!

Я решил поехать в Коктебель повидаться с Гартон и отдохнуть от обилия впечатлений. Оно утомляло не меньше, чем напряженная умственная работа.

Вечером я зашел к Сметаниной и там застал Зою Юнге. Она прилетела из Феодосии и через два дня собиралась лететь в Коктебель.

Я спросил ее, не может ли она взять меня с собой. Зоя тотчас же согласилась.

Это была высокая девушка. Ее рыжеватые блестящие волосы лежали волнами. Она часто встряхивала головой, чтобы привести их в порядок. Свое отношение к людям и их поступкам она высказывала решительно и резко.

## ОЦЕПЕНЕНИЕ ПОЛЕТА

— Ну, — сказала Зоя и похлопала рукавицами, — идите садитесь!

Маленький зеленый самолет трясся и гнал из-под шасси густую пыль. Сухая полынь дрожала от ветра.

Зоя подняла руку. Самолет быстро помчался по аэродрому, выходя на старт. Потом он с яростным ревом начал набирать скорость. Рев перешел в ровный звенящий гул. Земля, телеграфные столбы, стартер с белым флагом и татарская мажара, трусившая по дороге, — все это косо повалилось направо.

Горизонт падал, закатывался, а слева, за целлулоидовым окном, рядом с машиной стояло солнце. Я знал, что оно было в зените, но не удивился, увидев его сбоку и даже немного снизу под собой. Зоя легла на крыло и делала разворот над аэродромом.

Когда машина выпрямилась, Зоя оглянулась на меня и показала рукой на город.

Севастополь, пестрый от солнечных пятен, качался и дрожал под ногами, как громадная, сложная карта.

Казалось, что самолет стоит в воздухе неподвижно и трещит, как стрекоза.

Но колесо, недавно переставшее вертеться, быстро вело через бухты и город ровную линию, скрывая от взгляда кварталы и изгибы берегов.

Сверху Севастополь был оранжевым от черепичных крыш. Машина шла над ним, вздрагивая и поклевывая носом. Воздушные токи били в ее днище с резкостью кулачного удара. Зоя ела виноград.

Мы выходили к морю около Балаклавы. Каждая неровность земли под нами отзывалась на самолете. Он шел, повторяя в воздухе профиль земного пути, тянувшегося вниз. Он подскакивал, когда пролетал над холмами и насыпями, встряхивался над зарослями и проваливался в воздушные ямы над крутыми обрывами. Пол уходил вниз. Тело одну долю секунды висело в воздухе. От этого сильно болели позвонки.

Балаклаву я не видел. Ее целиком — от Кадыкоя до генуэзских башен — закрыло колесо самолета.

Жидким блеском ударило в глаза море, похожее сверху на синюю чашу с приподнятыми краями.

Самолет последний раз нырнул над ржавыми обрывами мыса Айя и ровно пошел в море.

Моноotonно гудел мотор. Синий свет заполнил кабину. Мы шли без тряски и толчков, как по воздушному асфальту.

Зоя, вспомнив о моем существовании, прислала мне записку:

«Налево — Байдары и Форос. Смотрите. «Земли полуденной волшебные края» (Пушкин)».

Я ответил на обороте. «Вы сильно бы волновались, если бы вам пришлось везти на самолете Пушкина?»

Зоя обернулась и утвердительно кивнула головой. Я смотрел на бронзовые слитки гор. Они были покрыты плесенью осенних низкорослых лесов. Я думал о людях, чья жизнь была

связана с этими берегами.

Черное море было верным другом Пушкина. «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз».

Замкнутый и скупой на слова Мицкевич часами просиживал на этих берегах.

Марлинский сочинял рассказы в припадке малярии в Сухум-Кале. Гарибальди плавал на тяжелом грузовом пароходе между Одессой и Таганрогом.

Лермонтова чуть не убили около Тамани контрабандисты. Черному морю он был обязан лучшим рассказом.

Одиссей плыл на корабле «Арго» по этому гостеприимному морю к берегам Колхиды. Марко Поло прошел по его северным берегам в глубь Азии, в царство Великого Могола.

Ученый Паллас застал здесь нетронутые гегуэзские города. Молчаливый и застенчивый грек, лейтенант Манганари, снял великолепную карту берегов этого моря.

Матрос Матюшенко поднял восстание на броненосце «Потемкин» и пересекал на нем эти воды. Здесь вырос и воспитался Шмидт. Лев Толстой в Севастополе написал первый в русской литературе правдивый рассказ о солдате.

У Каркинитского залива проходил с армией Фрунзе. Здесь красные части брали Перекоп, а партизанские отряды легендарного Мокроусова захватили Судак.

Я перебрал множество имен. Я понял, что этот густой синий дым подо мной, покрытый озерами солнечного света, — Черное море, — оставил неизгладимый след в сознании многих людей, приучил их к широким горизонтам и смелым обобщениям, породил пытливость, научил видеть, действовать и побеждать.

Но зачем думать о выдающихся людях? Тысячи рыбаков и матросов, выросших у Черного моря, дали стране, ее новой культуре много упорства, любви к свободе и веселья.

В 1920 году Красная Армия стремительно заняла Крым. В этом порыве, я думаю, немалую роль сыграло и Черное море. Оно притягивало, как мощный прозрачный магнит. Оборванные бойцы видели на этих щедрых берегах хотя и несовершенный, но ясный облик будущей страны, ради которой шли умирать, — страны солнца, свободных морей, легкого воздуха и тучных виноградников.

Мы проходили Ялту. Неподвижным каскадом белых домов она лилась в море. Ржавые парки виднелись сверху, как через волнистое стекло.

Воздух вокруг был разной плотности. Он создавал странную игру красок: то они сжимались со всех сторон — и тогда сады делались густо-золотыми, то расплывались — и золото садов едва поблескивало сквозь вечернюю дымку. Солнце садилось на западе в равнину вод. Мы вылетели поздно. Начальник аэропорта в Севастополе даже не хотел нас выпускать.

Солнце садилось, его прямые лучи ударили в стены сиреневых гор и осветили леса, цеплявшиеся за скалы.

Зоя оглянулась и посмотрела на солнце. Над Чатыр-Дагом мы проходили уже в поздние сумерки.

Зоя вела машину напрямик через горы, стараясь выиграть время.

Нас начало болтать. С северо-востока порывами задувал ветер. От ветра машина трепетала, как лист бумаги. В кабине стало холодно и темно.

Я еще различал вдали светлую полосу моря, но внизу, в ущельях, клубилась тяжелая мгла. Будто черный дым исполинского пожара подымался из земных глубин.

Зоя оглянулась. В глубоком сумраке я увидел только блеск ее зубов. Она улыбнулась, чтобы ободрить меня. Но меня давно охватило безразличие полета — состояние, обычное на больших высотах.

Смотреть наружу не было смысла — тьма ночи находила все более густыми волнами. Так прошло около получаса. Потом внизу проплыла горсть тусклых огней. Мы, очевидно, проходили над Судакком. По виду огней я понял, что Зоя набрала большую высоту, и догадался, что сейчас мы будем брать Кара-Даг.

«Лишь бы она не потеряла земной горизонт», — подумал я. Я пытался определить, где

он находится, но это оказалось бессмысленным занятием.

Я слышал, кроме гудения мотора, еще несколько звуков. Ремень у окна трещал, как пулемет. Стекла вибрировали и издавали звон, сливавшийся в одну напряженную ноту. Ветер налетал со звуком широкого и мягкого пушечного удара. Ветер сбивал ход.

Самолет не был приспособлен для ночных полетов. Зоя осветила электрическим фонариком счетчики. Я заметил высоту — две тысячи метров.

Потом она посветила мне в лицо. Я ослеп, а она, смеясь, показала рукой в ночь, налево. Я увидел пыльное электрическое зарево — открылась Феодосия. Коктебель был в двадцати километрах перед Феодосией, — значит, мы летели где-то над аэродромом, но никаких огней внизу я не видел.

Внезапно мотор остановился. Только свист вертящегося по инерции пропеллера и гул плоскостей, идущих круто вниз, были слышны в темноте.

Зоя клала самолет с крыла на крыло. Я увидел летящие к нам из пропасти огни. Я заметил освещенную белую полосу в виде буквы «Т» — знак посадки на аэродроме, но тотчас она рванулась в сторону, огни заметались зигзагами, качнулись, рассыпались, снова собрались и под гул планирующей машины стали на свои места и сделались много ярче.

Можно было разобрать свет в окнах домов. Машина промахнула крыльями над крышами. Удар! Второй удар о землю — и мы понеслись, подсакивая и подымая пыль, в кромешный мрак аэродрома.

Толчки прекратились, и наступила прекрасная земная тишина, — тишина ночи, полная запаха чабреца и света далеких звезд, откуда мы упали на эту милую землю.

Зоя вылезла из кабины. Я хотел помочь ей, но она засмеялась и сама спрыгнула на землю.

— Ойдем подальше и покурим, — сказала Зоя. — Сейчас за нами приедут.

Далеко было слышно кряканье автомобильной сирены.

Мы закурили. Папироса освещала лицо Зои. Она сняла шлем. Глаза ее были окружены черной каймой. Она, видимо, устала. Она положила мне руку на плечо и сказала:

— Послушайте, как тихо!

Мы стояли и слушали. Безмолвие ночи простиралось вокруг. Машина тоже прислушивалась к нему вместе с нами.

— А вот с Пушкиным, — засмеялась Зоя в темноте, — я бы так не полетела.

— А что бы вы сделали?

— Вернулась бы обратно в Севастополь. Там лучше садиться ночью. И ветра там нет.

Мы молчали. Звезды горели над рваными краями гор.

Вскоре подошла машина. Юноши в робах потащили самолет в ангар, за полкилометра.

Нас с Зоей машина повезла по белеющим извилистым дорогам. Далеко внизу разбегались редкие огни Коктебеля.

Через четверть часа машина остановилась у низкого каменного дома. В окнах горел свет. За живой изгородью из колючих кустов шумел прибор.

— Вот и приехали, — сказала Зоя. — Это наша берлога. На террасе, с лампой в поднятой руке, стоял и улыбался Гарт. Лицо его было освещено лампой сверху и казалось совсем молодым. Он широко распахнул дверь в беленную мелом комнату с простой дощатой мебелью.

## МАТЬ

— Ну что, — спросил я Гарта, когда мы остались одни и легли на походные койки, — удалось вам найти материал для рассказа?

— Кажется, — ответил он. — Я встретил здесь командира корабля Нагорного. Я записал его жизнь.

— Дадите прочесть?

— Конечно, — сказал Гарт и поднялся с койки. Он достал из стола рукопись. Рассказ

назывался «Мать».

«Родился я в маленьком городке Ени-Кале около Керчи. Пыльный этот и древний город лежит на берегу мутного Керченского пролива. Слово «лежит» к нему, пожалуй, больше всего подходит. Городок наполовину лежит в развалинах, заросших колючками и засыпанных битым стеклом.

Матери посылали нас, мальчишек, на эти развалины пасти худых коз. Сколько мы своей крови там оставили — трудно сказать. У меня на ногах до сих пор шрамы от этих осколков.

Народ в Ени-Кале жил скупой и небогатый — рыбаки, конопатчики да шкиперы с азовских байд. Самыми богатыми жителями были два контрабандиста — Анастас и Жора, хитрые и отчаянные греки.

Отец мой служил маячным сторожем. Маяк стоял недалеко от города, на мысу. Мыс от маяка получил название, «Фонарь». Маяк давал, как сейчас помню, белый огонь с частыми проблесками.

Потом, когда отец отдал меня на рыбацью байду, бывало, идем ночью в шторм, шкипер пошлет тебя на ванты, и сиди мерзни, смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как только заметишь его, кричишь вниз: «Старик подмигивает!» Такая была традиция. Раз «старик мигает» — значит, мы дома. Тут же вытаскивали водку, закуску и, не дожидаясь берега, начинали пить. Пить не давали только штурвальным.

Отец у меня пил крепко, но только по праздникам. Когда напивался, бил и меня и мать. Выгонял из дому и кричал: «Я старый царский боцман и желаю свободной жизни. Хватит с вас. Заели мой век, прилипалы».

Когда отец не пил, был он унылый, неразговорчивый, очень боялся начальства. Часами молчал, рубил топором табачные корешки. Мать его не любила.

Мать у меня была слезливая женщина, бывшая керченская кухарка. Руки у нее были жилистые, с синими вздутыми венами, кривые от работы. Все ногти от стирки сошли и новые выросли толстые и горбатые.

Школу я не окончил. Отец отдал меня рыбакам. Худенький сделался, в чем только сила держалась.

Читал из-под полы. Помню, прочел «Отверженные» Гюго и несколько лет с этой книгой не расставался. Истаскал ее вконец, хотя многого и не понял.

Когда подрос, забрали меня матросом во флот, в Севастополь, но по слабости здоровья списали на берег и отправили рабочим на Морской завод. Работал я электриком.

Матросы — сами знаете — народ с искрой в голове, бывалый и вольный. Многому я от них научился.

Была война. При мне все было — и Февральская революция, и приезд Керенского, и случай с Колчаком, когда он выбросил золотой кортик в море, чтобы не отдавать его матросам, и немцы, и англичане, и деникинцы, и Врангель. Все я перевидал и все понял.

После войны я остался рабочим на заводе. Жил я далеко от города, в Инкермане. Место пустынное. В то время там белая контрразведка расстреливала людей.

Бывало, ночью слышались выстрелы, крики. Лежишь в темноте, до утра глаз не закроешь и ругаешь себя последним подлецом.

В комнате у меня было тепло, сверчок кричал, и так это не вязалось с убийствами, что даже не верилось. Иногда вставал и ночью выходил осторожно во двор и слушал, — ничего, только звезды полыхают над бухтой.

Но однажды зимой вышел я и слышу — стонет кто-то за оградой. Я пошел на стон. Тихо зову: «Товарищ!» Он смолк. Я выждал. Знаете, как охотники выжидают, чтобы закричал перепел. Слышу — опять стонет. Я быстро подошел, нагнулся — вижу, человек!

Втащил я его в комнату, перевязал. Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови, долго полз по степи и лежал у меня без памяти. Я его спрашивал, кто он, может быть, надо что-нибудь кому передать, а он только шептал, так тихо, что я не мог ничего разобрать.

К утру он умер. Так я и не дознался, кто он. Молодой, невысокого роста, в одном белье. Никаких документов у него не осталось.

Похоронил я его ночью за огородом. Могилу копал часа три. Земля там каменистая, а рыть надо было поглубже, чтобы в случае чего не нашли. Засыпал его щебнем и завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Красная Армия. У белых начинался, как тогда выражались, «вселенский драп», иначе говоря — паническое бегство.

Контрразведка погрузилась на транспорт «Рион». Он стоял у пристани в Южной бухте.

Я и двое товарищей решили действовать. Достали адскую машину. Принесли в мастерскую, чтобы припаять запалы. Бывший минер Мартыненко, тот, что во время восстания на «Очакове» командовал миноносцем «Свирепый», — маленький старик, простая душа, — стоял у двери, следил чтобы никто не вошел, и бил кувалдой по прожектору — делал театральный гром. Искалечил прожектор вдребезги.

Запалы припаяли. Я переоделся в матросскую робу и пошел на «Рион». Шел спокойно. «Рион» собирался отваливать.

Я протопал по трапу мимо караульного офицера. Поставил адскую машину в рундук около кочегарки. Никто не заметил. Машина была заведена на четверть часа.

За четверть часа надо было выбраться с парохода. Я решил действовать осторожно, в крайнем случае остаться на «Рионе» и взорваться вместе с контрразведкой. У меня не было часов, и я все время про себя считал до девятисот. Адская машина должна была взорваться через девятьсот секунд. Этот счет очень помог мне. Я так им был занят, что почти не волновался.

На двести двадцатой секунде я подошел к трапу, на двести тридцатой офицер сказал мне: «Ты куда лезешь, сукин сын! Сейчас отвал». Я показал ему на какую-то женщину на пристани: «Вон маруха моя стоит, принесла папирос на дорогу. Разрешите сбегать на две минуты». Он говорит: «С такой и за минуту успеешь управиться. Вали!»

На двести сороковой секунде я был за пакгаузом, а на трехсотой — уже наверху, в Пушкинском сквере. Женщина эта, между прочим, оказалась известной в Севастополе сумасшедшей старухой. Ходила она накрашенная и говорила по-французски.

Просидел я на сквере остальные шестьсот секунд. Выкурил за это время десять папирос. «Рион» отвалил, но взрыва не было.

У меня похолодело под горлом, — неужели мы ошиблись с машиной? Начал вспоминать по порядку, как мы ее заряжали и ставили запалы, — и в это время ударил взрыв. В прибрежных домах вылетели стекла. «Рион», весь в пару, осел на левый борт и начал тонуть. Почти никто с него не спасся. Так я свел короткий счет с контрразведкой.

Красные продержались недолго. Снова пришли белые. Кое-кто знал, что я взорвал «Рион», и мне пришлось бежать от расстрела.

Я пешком пробирался в Ени-Кале. Думал, что там легче укрыться. Весь Крым был под белыми.

Шел я горами, по Яйле. Идти было трудно, порою невыносимо. Известняк покрыт большими воронками и трещинами, и я сбил себе в кровь ноги. Изредка я замечал на вершинах татар-чабанов с отарами овец, но обходил их из-за собак. Горные овчарки разорвут в клочья.

Шел три дня, пока вышел к Коктебелю. Два дня я ничего не ел, раны на ногах горели, и я ругался от боли.

Пришел в Коктебель и понял, что дальше идти не могу. Зашел к болгарам-крестьянам. Хмурый народ. Женщины и даже девочки носят у них все черное, как траур. Молодой болгарин дал мне напиться солоноватой воды и сказал:

— Здесь не дело ни сидеть, ни ночевать. Увидят солдаты — всем будет каюк. Иди к Максусу.

Я спросил, кто такой Макс. Болгарин ответил, что Макс — хороший человек. Только он один может меня спрятать в Коктебеле.

Так я попал в дом к поэту Максимилиану Волошину. Все его звали Максом.

Встретил меня низенький бородатый человек, посмотрел на мои ноги, ничего не спросил и сказал: «Иди скорее за мной». Отвел меня в укромную комнату, а сам ушел. Через несколько минут пришла женщина и перевязала мне ноги. Меня накормили. Я уснул и проспал около суток.

На следующий день Волошин опять пришел и сказал, чтобы я ничего не боялся: у него в доме белые не посмеют меня тронуть.

На десятый день я собрался идти дальше, в Феодосию. Ноги зажили, боль прошла. Волошин проводил меня до половины дороги. Он дал мне письмо в город к одному художнику с просьбой мне помочь. Я поблагодарил его. Мы расцеловались. Он долго стоял и смотрел мне вслед.

Больше я его не встречал. Только теперь, через пятнадцать лет, я пошел на его могилу в сухих горах и принес на нее с морского берега несколько гладких зеленых камней. Мне передавали, что Волошин просил его могилу засыпать морскими камнями.

В Феодосии я пробыл два дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами, как за ширмами,

Художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый, — меня почти не заметил. Только при первой встрече он проворчал:

— Мне совершенно все равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. Все вы мешаете людям работать.

— Если я мешаю, то уйду, — ответил я и пошел к двери.

— Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю, — сказал он, — то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас. Поняли?

Через три дня он так же на ходу, не отрываясь от работы, сказал мне:

— Теперь можете убраться.

Я ушел. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь.

Голодный, с избитыми ногами, я добрался наконец до родного городка, до отцовского дома.

В каменоломнях под Керчью в то время сидели, как звери в норе, два партизанских красных полка. Белые выкуривали их оттуда ядовитыми газами и замуровали входы в пещеры.

Время было опасное.

Дома меня встретила мать. Заплакала и села на лавку.

Я осмотрелся кругом, и тоска вошла в сердце, как болезнь, — пусто, голодно, тараканы шуршат под обоями, а за оконцем все те же хибарки с побитыми стеклами, ходят оборванные старики, и ветер несет и несет с севера белую пыль.

— Где папаша? — спрашиваю мать. — И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое суток я иду голодный.

Она собрала мне поесть — соленую камсу с коркой хлеба. За едой я рассказал, что мне надо скрываться. Она дрожит и утирает платком глаза. Куриная слепота у нее была, должно быть, — глаза все время слезились.

В то время пожалел, что вернулся домой. Но делать было нечего. Я остался дожидаться отца.

Отец пришел к вечеру — весь в глине, злой и усталый. Поздоровался, посмотрел на меня и молча сел на лавку. Мать принесла керосиновую коптилку, поставила на стол. Отец задул ее и все сидит, молчит в темноте. Потом сказал хрипло:

— Дура баба, как индюшка. Лампой может нас выдать. Тебя кто-нибудь видел?

— Не знаю.

— От белых у отца решил сховаться?

Я смотрел на него, и у меня все тяжелее становилось на сердце.

— Поживешь — узнаешь. Господа офицеры каждый день на работу гоняют. Маяк теперь не горит.

— Окопы роете?

Отец молчит. Мать меня толкает в спину, — отцу в темноте не видно. Тут я догадался, что отец ходил замуровывать ходы в каменоломни. Я ничего не сказал, но решил утром уйти из дому. Голова болела от обиды за людей.

— Пулеметы на нас наведены, — сказал отец. — Под пулеметами работаем. Ты бы ложился спать, Андрюша.

Сказал он это ласково, и я чуть тогда не заплакал. Должно быть, перетерпел много и не ожидал от отца такой сердечности.

Разделся, лег и уснул. Сколько проспал — не помню. Ночью кто-то меня дергает за плечо, плачет надо мной, просит проснуться. С трудом открыл глаза. Тьма, ничего не видно. Слышу — мать шепчет:

— Андрюша, вставай. Вставай, Андрюша, смерть за тобой идет.

— Что такое?

Мать не может говорить, дыхание у нее спирает.

— Старик, — говорит, — куда-то пошел ночью. Как бы не было беды, Андрюша. Одевайся. Я проведу тебя до Анастаса. Он верный человек. Он — друг, не обманет.

— Куда пошел папаша? — спрашиваю ее.

Она трясется, молчит.

Я быстро оделся. Мать накинула дырявый платок, и мы пошли из дому. В жизни не видел я такой ночи. Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо. Тихо в городке — все собаки подошли от голода. Темно — не видно своей руки.

Потом слышим — идут! Я втащил мать за рукав в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это они, — говорит мать. — Винтовками брякают. И старик с ними. Я его шаг хорошо знаю.

Анастаса я помню еще с детства. Был он грек из города Воло. Человек отважный и верный, старый контрабандист. Я ему сказал:

— Надо бежать на тот берег пролива, в Тамань. Перевези, будь человеком.

— Скольких?

— Вот нас двоих — меня и мать.

— А старуху зачем?

— Надо.

— Едем, — говорит Анастас. — Минут пять назад «они» тут прошли. Время горит. Аида на берег! Денег твоих мне не надо.

Мать стоит в стороне и плачет. Я хотел ее успокоить, говорю:

— Не плачь, мамуся. Все, даст бог, обойдется.

Ради нее я бога помянул. А она мне отвечает:

— Не сердись на меня, Андрюша. Один ты у меня на свете, и ради того я с тобой не поеду.

Я ее, признаться, не понял. Анастас меня торопил. Ждать было нельзя. Мы кинулись на берег, к дощатой пристани. Я обнял мать и соскочил в шлюпку. Отчалили.

Ветер. Человеческого голоса не слышно. Но все же мне почудилось, что на берегу кто-то не то стонет, не то плачет. Догадался, что это мать, но не до того было — пришлось грести что есть силы.

Я гребу, а Анастас сидит на руле. Отчаянный был моряк. Ночью нюхом все знал. Одного только боялся — чтобы не попасть под «фонарь», — так рыбаки называли прожектор с белого миноносца, сторожившего пролив.

Но «фонаря» не было видно. Белые были уверены, что в такую ночь никто не решится удирать на тот берег.

Минут через десять с нашего берега ударило несколько выстрелов. Тотчас же лег на воду огонь прожектора с миноносца. Он медленно полз по горизонту, и тут я увидел, в какую



штормовую ночь мы вышли, — пролив был седой от бурунов.

— Ложись! — крикнул мне Анастас. — Ложись, зараза! Пропадешь из-за своей головы!

Мы легли на дно лодки. Дымящийся свет осторожно подходил к нам, и Анастас шепнул мне:

— А ну, как буруном нас на счастье закроет? Шлюпка моя белая, пена белая, — может, беляки не увидят.

Но в ту же минуту уключина вспыхнула и засверкала. Свет остановился на шлюпке. Он дымился и качался вместе с волнами.

— Труба! — крикнул Анастас и вскочил. — Нащупали! Сидай на весла, Андрюха, и гребь, пока душа в тебе держится.

Я греб и стонал ох напряжения. Я ослеп. Свет бил в лицо, пришлось грести с закрытыми глазами.

Глухо хлопнул один выстрел, потом второй, третий. Пуля звякнула об уключину и рикошетом ударила в плечо.

Я сполз на дно шлюпки, где плескалась нефтяная жижа.

Анастас пересел на весла. Он греб бешено. Воздух свистел в его зубах.

Наконец высокая волна закрыла нас, и стрелять перестали. Потом на луч прожектора наползла черная тень. Это был давно погасший плавучий маяк у таманского берега. Мы спрятались за ним и ждали, пока прожектор уйдет в сторону. Кровь текла у меня по спине. Я не чувствовал боли, но не мог пошевелить рукой.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас помог мне выйти на мокрый песок. Он дал мне кусок хлеба, махорки и спичек, завязал оторванным рукавом рану и исчез в темноте. Он даже не попрощался со мной. Я не успел его поблагодарить.

Я забился в кусты и пролежал до рассвета.

Начало светать. Я пошел по пескам к обрывистому берегу. С трудом я доковылял до одинокого рыбацкого дома и постучал в ставню. Мне было безразлично, кто живет в этом доме, — лишь бы меня пустили в тепло, к печке, дали уснуть.

Дверь отворилась, и на крыльцо выбежала девушка в теплом платке и сапогах. Она вскрикнула и прижалась к косяку. Я, должно быть, выглядел очень страшно в рваной рубашке, с окровавленной перевязкой, синий и промокший.

— Откуда вы это? — спросила девушка громким шепотом.

— Из Керчи. — Я показал на пролив. Там в осеннем грязном воздухе чернели керченские горы.

Я сел на ступеньку и потерял сознание.

Пришел я в себя в белой комнате с низким потолком и тусклыми оконцами. В печке трещала солома. Пахло ржаными лепешками. От этого запаха сводило челюсти.

Были слышны два голоса — женский и мужской. Мужчина говорил, что меня надо проводить до Темрюка, а оставлять здесь опасно. Женщина упрямо повторяла одно и то же:

— Нехай остается. На человеке лица нет, — пусть передохнет.

Девушка настояла на своем — меня оставили. Девушка — звали ее Настя — все поглядывала в степь и прятала меня, как только вдали появлялся человек. Отец ее, рыбак, ворчал на меня за мою молодость. По его мнению, это был мой самый великий грех.

Старик рыбачил около Тамани и занимался мелкой торговлей. Он открыто плавал в Керчь и возил туда сахарин, водку и пшеничные коржи. Из Керчи он приезжал трезвый, с кисетом, набитым деникинскими «колокольчиками».

До революции старик был сторожем Англо-Индийского телеграфа. Теперь от этого телеграфа в степи торчала вереница невысоких чугунных столбов. Все провода были срезаны.

Настя была девушка очень капризная и застенчивая. Со мной она не разговаривала. Подавая мне обедать, она швыряла тарелки и без причины краснела.

Когда я оправился, старик, ругаясь на чем свет стоит, отвез меня в Темрюк, потряс на прощанье руку, сунул в карман денег и наказал не позже чем через год возвращаться и не

морочить дочери голову. Я был далек тогда от мыслей о девушках и женитьбе, но слова старика запомнил.

Хотя и не через год, а гораздо позже, я вернулся в Тамань. Теперь Настя — моя жена.

Во время этого возвращения я узнал от Анастаса о смерти матери и отца.

Мать в ту ночь вернулась и застала в доме отца с юнкерами из «батальона смерти». Она рассказала им, что ночью я вскочил, оделся и ушел в степь, в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала меня до околицы. Юнкера дали несколько выстрелов в степь, арестовали мать и увели. Старушка просидела в тюрьме месяц и умерла от сыпняка.

— А отец? — спросил я Анастаса.

Он замялся.

— Погиб он вскорости после этого случая. Утонул на рыбной ловле.

— Как утонул?

— По делам вышла и смерть, — неохотно ответил Анастас.

Он сделал вид, что не слышит моего вопроса.

На этом оборвалась прежняя жизнь. Я попал в Балтийский флот, окончил школу командного состава и теперь команду кораблем.

Я человек без всяких предрассудков, бывал в боях, но от одного предвзятого настроения никак не могу избавиться. Ругаю себя за это сильно. Не люблю Керчь и Ени-Кале и ни за какие блага туда добровольно не поеду. Хоть отдавайте меня под суд!»

## КАРА-ДАГ

*Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.  
Джемс Кук*

Мрачный болгарин предложил купить у него коллекцию коктебельских камней. Я было согласился, но Гарт отговорил меня. Он уверял, что мы сами можем набрать еще лучшую коллекцию за один день, стоит только съездить в Сердоликовую бухту около Кара-Дага.

Болгарин клялся, что ничего не выйдет, — у нас нет верного глаза и мы не знаем тех мест, куда море выбрасывает самые красивые камни.

Я давно слышал, что берега Коктебеля славятся камнями, но не думал, что их так много. Я брал на берегу горсть камешков, пересыпал их на ладони и почти всегда находил несколько халцедонов, сердоликов, горных хрусталей и зеленых камешков, покрытых разноцветными слоистыми кольцами и носивших название ферлямпиксов.

Особенно много было серого мрамора и зеленого малахита с белыми и черными жилками. Они создавали на камнях удивительные пейзажи — утесы, прибои и цепи гор.

Часто попадались камешки с тончайшими рисунками растений, напоминавших папоротники.

Больше всего камней я находил на кромке прибоя после бурь. На поиски камней надо было выходить рано, как на охоту и рыбную ловлю. К полудню болгарские дети уже выбирали все самое ценное.

В Сердоликовую бухту мы поехали на шлюпке в первый же тихий день. С нами поехала Зоя.

За первым мысом на нас дохнуло застоявшейся теплотой, а под стеной Кара-Дага мы вступили в давно забытое и далекое лето.

Это было самое теплое место в Крыму. На морских побережьях меня поражала резкая смена холода и тепла на расстоянии каких-нибудь десяти километров. Горные хребты пересекали приморскую страну и делили ее на маленькие области. Каждая из них обладала своей растительностью, климатом и пейзажем.

Я впервые увидел Кара-Даг.

Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов мира и разрушительных извержений.

Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зеленых морских глубин и останавливали далекие облака.

Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, заливая с гулом пещеры. Потом оно так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть.

Из пещер вода выливалась шумными, пенистыми водопадами, выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн окаменелой магмы.

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от взгляда вверх. Облака проплывали над кручами. Под облаками парили орлы.

Головокружение носилось, как испуганная птица. Всюду, куда бы мы ни смотрели, оно подстерегало нас, и мы потеряли черту земного горизонта.

Гарт подвел шлюпку ко входу в пещеру. В ней, по словам Зои, совсем недавно нашли ящик со старым серебром. В глубине пещеры, на выступах, куда не доставала волна, белели кости. Мы не могли к ним подъехать, но нам показалось, что это человеческие черепа. Мы попали в бывший приют контрабандистов.

Вся местность вокруг была полна дикости и величия. Это придавало ей таинственность, от которой у детей пересыхает горло, а у взрослых появляется на лице выражение суровости и восторга.

Стены Кара-Дага смыкались, образуя тесные бухты, — не полукруглые, как обыкновенно, а стиснутые плоскостями гранита многоугольники разнообразных размеров и форм.

В одной из таких бухт мы и качались на своей желтой шлюпке. Она казалась ничтожным осенним листом, заброшенным ветром к подножию нависавшей над морем черной громады.

С большим риском Гарт подвел шлюпку к отвесной стене, отполированной прибоем, и мы заглянули в воду.

Гранит уходил в морские глубины так же отвесно, как и подымался вверх. Водоросли держались в расщелинах. Они то тихо вытягивали, то прятали зеленые руки, пытаясь схватить стаи пугливой рыбы. Падение каменных стен в воду было настолько крутым, что крабы с трудом удерживались на них. Они беспомощно растопыривали клешни и срывались в глубину от каждого ничтожного колебания волны.

Вода в бухте казалась покрытой слоем темного оливкового масла. На ней не было ни малейшей ряби. Самый ее глухой цвет, тяжесть и вместе с тем прозрачность давали представление громадной глубины.

Со стороны моря бухта была заперта двумя скалами. Они сомкнулись лбами, но их подошвы далеко разошлись и образовали большую арку. Там жило громкоголосое многократное эхо. Когда мы проходили под аркой, то плеск весел превратился в пенистый шум эскадры гребных судов. Это придавало любому звуку громовый оттенок. Гарт кашлянул. Сухой кашель курильщика эхо превратило в оглушительный звук канонады, будто от скал отскакивали полые бронзовые ядра.

В бухте Зоя крикнула. С далекой вершины сорвался камень. Мы слышали, как зарождалось его падение, как он щелкал по выступам скал и со свистом пули врезался в воду.

Бухта походила на глубокое озеро в кратере вулкана. В прорезь арки была видна пена волн на подводных рифах и стаи чаек, бивших крыльями по воде. В бухту чайки не залетали.

Около пещеры мы заметили стаю бакланов. Они качались на воде, вытягивая черные головы на длинных гусиных шеях.

Стены Кара-Дага были во многих местах рассечены от вершины до поверхности моря прямыми трещинами. Иные утесы стояли одиночными колоннами, высотой в сотни метров. Было непонятно, почему они не обрушиваются от малейшего колебания воздуха.

Кара-Даг еще недавно был действующим вулканом. Он прорвал нагромождения геологических пластов, лежащих над жидкой земной магмой, вспучил их, раздвинул и поднял над морем.

Мы рассматривали сотни горных пород, то завязанных в узлы, то падавших волнами, то свисавших квадратными плитами, похожими на броню дредноутов. На одной из стен Кара-Дага был виден кратер, залитый лавой. В толще окаменелой магмы сверкали жилы сургучного сердолика.

Вода в бухте отражала скалы. Цвет их был суров, но не однообразен. Скалы были черные, красные и желтые, как охра. Изредка их перерезали пласты зеленых, белых и синеватых пород. Но у всех этих красок было общее свойство — их покрывал сизый налет, свойственный окалине. Очевидно, это были следы космического огня и пепла.

Зоя рассмотрела у подножия одной из стен небольшую каменную площадку, занесенную песком и ракушками. Мы пристали к ней на шлюпке и вышли.

Зеленоватый сумрачный воздух, наполненный солнечным дымом и желтыми отсветами скал, струился над нами. Безмолвие каменного хаоса скрывало смертельные опасности обвалов. От каждого резкого звука мы вздрагивали и смотрели вверх, где небольшая туча стояла, уткнувшись влажным лбом в глыбы гранита.

В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Надо было передать в красках эту геологическую поэму» В тысячный раз я почувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни сравнений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого в их пропасти, крики орлов и тысячи малейших ласковых вещей — всплесков воды, прозрачных струй, солнечных зайчиков и нежнейших водорослей и медуз, сообщавших величавому пейзажу оттенок простоты и безопасности.

Не было слов, чтобы передать изгибы бухт, затененные углы, гроты, выстланные черным блеском и светлой подводной травой, темную прозрачность волн, качавших далеко внизу спины серебряных паламид, и, наконец, луну, видную снизу даже днем и похожую на клубок розового пара, замерзшего в холоде недостижимых высот.

Все это надо было зарисовать и перенести на сотни полотен. Но как не было слов, так не было и красок, чтобы передать торжественность и прелесть этих мест.

Как передать на полотне отражение, имеющее глубину и объем, но вместе с тем не имеющее ничего, кроме непрерывной игры световых и красочных частиц!

Как передать амфитеатры черных гор, замыкающих полукругом неподвижный розовый день!

Здесь нужно было соединение всех человеческих усилий, содружество талантов, все средства красок, света, слов и звуков. Да, звуков, потому что тишина этого вулканического цирка была совсем не беззвучна. Сквозь нее сочилось едва заметное звучание, должно быть похожее на то жужжанье планет в мировом пространстве, о котором писали эллины.

Очень долго над Кара-Дагом не решались пролетать планеристы. Нужно было большое мужество, чтобы выдержать толчки мощных воздушных потоков, рвущихся из теснин этой горы.

Первый планер разбился в одной из бухт. Видел его падение поэт Максимилиан Волошин — певец и старожил Коктебеля. Он послал к Кара-Дагу рыбаков, и они нашли спасшегося планериста. Он цеплялся за незаметные выступы отвесной скалы. Если бы помощь запоздала на несколько минут, планерист сорвался бы со скалы и утонул.

Мы отъехали на шлюпке к скалам, кое-как привязали себя к одной из них и занялись рыбной ловлей.

Шнур провисал до самого дна, как лот, и туго дрожал от подводных течений. Изредка резкий удар давал знать, что взяла рыба.

Зоя вытащила громадную камбалу — палтуса, диковинную рыбу с глазами на спине. Она шла тяжело, покачиваясь и перебирая плавниками. Зоя хохотала.

Начался азарт. Я подсек большую султанку. Эта серебряная рыба с огромными глазами, когда ее вытаскиваешь из воды, покрывается пурпурными пятнами.

Гарту не везло. Он таскал только, крабов. Они бегали боком по шлюпке, прятались под решетчатый пол и смотрели оттуда на Гарта яростными глазами, то выдвигая их, то пряча, как театральные бинокли.

Гарт схватил одного за спину и, морщась от папиросы, показал мне и Зое его мощные клешни. Одна клешня была приспособлена для раздавливания, другая для того, чтобы хватать.

Гарт дал крабу зажать клешней лапу маленького железного якоря-кошки и поднял краба. Краб с грохотом потащил за собою якорную цепь. Гарт рассказал, что краб может держать в клешне тяжести, в тридцать раз превышающие вес его собственного тела.

Только в конце ловли Гарту повезло больше всех. Он вытащил морского петуха — черную рыбу с двумя громадными плавниками лазоревого цвета. Плавники по величине напоминали крылья.

За рыбной ловлей Зоя рассказала нам о гибели француза Бертелло.

Этот французский турист приехал в Крым, чтобы осмотреть кипарис, посаженный Пушкиным в Гурзуфе, скалы «Дива» и «Монах», водопад Учан-Су, а заодно и другие, затасканные обывательским любопытством «прелести юга».

Гарт перебил Зою. Он заметил, что нигде в Союзе он не встречал такого количества пошлых открыток, картинок и описаний красот, как в Крыму.

Гарт предложил беспощадно выгнать из Крыма бродячих фотографов — главных распространителей дешевого вкуса. Это они снимают жирных бухгалтеров в обвисших трусиках рядом с девственными цветущими магнолиями, а хихикающих и кривоногих девиц заставляют обнимать спокойные и торжественные статуи Диан и Нереид.

Выслушав Гарта, Зоя окончила свой рассказ о Бертелло.

Этот француз, учитель географии, устал от тубетеек, кизилых палок с рогатками и коробок, облепленных раковинами и называющихся почему-то «Привет из Ялты». Он устал от ялтинской толпы, слоняющейся по набережной с упорством маньяков. Кто-то посоветовал ему отдохнуть от Ялты в Коктебеле.

Бертелло приехал туда. Он был поражен тем, что попал из сусальных курортов в сухость и простор, напоминающие Македонию. Красные маки цвели в шиферных горах. Суровые горы, небо, сухая трава, воздух и море — больше в Коктебеле ничего не было.

Но сильнее всего Бертелло поразил Кара-Даг. Он проводил целые дни у его подножия. Он, смеясь, говорил, что заболел неизлечимой болезнью, носящей название «карадагизм».

Через год он снова приехал в Коктебель. Ему хотелось обязательно проникнуть на Кара-Даг с суши. Это предприятие считалось невозможным, но Бертелло все же поднялся на Кара-Даг.

Был сильный ветер. На одной из остроконечных вершин на Бертелло напали горные орлы. Отбиваясь от них, он потерял равновесие и упал в пропасть. Тело его нашли не скоро.

## ГОРНАЯ РОСА

Из Коктебеля в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога. Она шла в ущельях, покрытых дубовым кустарником и буковым лесом.

Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где еще цвели маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла. Черные стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни красных бабочек.

Мы с Гартом пошли в Старый Крым, за восемнадцать километров от Коктебеля, чтобы посмотреть развалины первой столицы Крыма — Солхата. Они еще сохранились в Старом Крыму.

Маленький белый город лепился на последних отрогах Крымских гор. Вековые ореховые деревья протягивали серные ветви над черепичными крышами. В подножия

деревьев сидели сонные старики. Они торговали овощами и дешевыми феодосийскими папиросами.

Листья ореха лежали на земле тусклыми зелеными пятнами. Редкие прохожие давили их чувяками. Тогда острый запах возникал в тени вянущих деревьев и долго не исчезал.

Старый Крым был пустынен. Он напоминал нашу русскую деревню во время покоса, когда в избах остаются одни младенцы и старики. Мы долго бродили по улицам, где, кроме собак и дозревающего шиповника за оградами, никого и ничего не было.

Гора Агармыш бросала синий отсвет на заброшенный город.

Мы искали развалины Солхата и наконец нашли. Они были печальны и запущенны. Разбитые надгробия тонули в бурьяне. К надгробиям кто-то привязал несколько старых коз с желтыми глазами.

На развалинах мечети мы встретили черного человека и двух рабочих-татар. Татары лениво разгребали щебень широкими лопатами и звенели ими о камни.

Мы подошли и увидели неглубокую яму. В ней лежала старинная гончарная труба, покрытая пылью.

Черный человек оказался очень словоохотливым. Он вовсе не был археологом, производившим раскопки, как предполагал Гарт. Он назвал себя мелиоратором, работавшим над разрешением сложной задачи об орошении восточного Крыма. Фамилия его была Левченко.

Он сразу же заговорил с нами как со старыми знакомыми и остался очень доволен тем, что мы пришли в Старый Крым только для того, чтобы побродить по этим древним местам.

— Уважаю любопытных людей, — сказал Левченко и тут же вызвался показать нам город. Гарт поморщился. Он не выносил попутчиков и боялся их назойливых разговоров. Но делать было нечего, и мы согласились.

Левченко отпустил рабочих. Мы пошли за город, в сторону Агармыша. Холмы вокруг были покрыты множеством засохших цветов, еще не утративших запаха.

Из разговора с Левченко выяснилось, что он был человеком того склада, когда профессия, вопреки обычному положению вещей, ничего не говорит об умственном уровне и круге интересов. Это был человек вне профессии, или, вернее, человек, умевший вокруг своей профессии объединить много интересных познаний, мыслей и выводов, как будто и не связанных непосредственно с его основным делом.

Мне приходилось встречать моряков, умевших извлечь много любви к своему делу из знакомства с живописью, и художников, обогативших живопись благодаря знакомству со спектральным анализом и метеорологией.

Только ум, умеющий проследить неразрывную связь на первый взгляд несовместимых явлений, может создавать большие ценности.

Левченко не был археологом, но случайно в запылившемся докладе давно умершего ученого он прочел, что во время раскопок в Солхате, в восточном Крыму, были найдены разбитые гончарные трубы.

Левченко знал, что в средние века Солхат считался одним из самых цветущих городов Востока. Одно время Солхат соперничал с Багдадом и Дамаском. Он был окружен богатыми садами.

Сами собой напрашивались выводы. В Солхате было большое население, много садов, и поэтому город не мог жить без обильной и хорошей воды. Значит, вода была и исчезла только в последние времена. Откуда же ее доставали?

Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Они давали возможность раскрыть загадку, погребенную под пылью многих столетий.

Левченко приехал в Старый Крым и занялся изучением этой каменистой земли.

Он увеличил на одного человека число чудаков, копавшихся на развалинах мечетей, и число стариков кладоискателей.

Почти все население Старого Крыма занималось поисками кладов. Звон лопаты о пыльный металл или мраморную капитель колонны, гулкий стук, свидетельствовавший о

наличии подземных пустот, — все это волновало Левченко не меньше, чем опытных археологов и стариков кладоискателей. Разница была лишь в том, что старики искали золотые монеты, а Левченко — никому не нужные гончарные трубы.

Левченко проследил подземные пути труб. Они шли на Агармыш и на соседние сухие горы, где не было ни одного источника пресной воды. На вершинах гор трубы упирались в разрушенные каменные бассейны, засыпанные галькой.

Тогда Левченко догадался: Солхат собирал и пил горную росу. Она оседала на гальке, конденсировалась на ней во время переходов от ночного холода к жарким дням и стекала на дно каменных бассейнов. Оттуда по трубам роса струилась в мраморные городские фонтаны.

— Вы представляете, сказал Левченко, — какую вкусную и душистую воду пили в Солхате!

По лицу Гарта я видел, что от его раздражения против непрошеного попутчика не осталось и следа.

Открыв эти бассейны в горах, Левченко занялся изучением росы. Ее выпадало так много, что она могла дать воду не только Старому Крыму, но и всем окрестным полям и садам.

По словам Левченко, уже сейчас можно было получать росу из некоторых старинных цистерн. Нужно было только их расчистить и починить.

Мы вошли в редкий буковый лес на склонах Агармыша. Палый лист всех цветов — от лимонного до черного и от серого до пурпурного — лежал на траве, мокрой от крупной росы.

Синие тени деревьев придавали игре красок, рассыпанных по земле, необыкновенное разнообразие.

Весной окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов — в бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больших и лечат их ваннами из целебных трав и цветов.

Гарт остановился. Он снял шляпу и дышал теплым воздухом леса.

— Я сваял дурака, — сказал он мне и засмеялся. — Я согласился написать для Юнге рассказ о боре. Старик надеется, что это поможет осуществить проект о туннелях под хребтом Варада. Теперь же мне хочется заняться росой. Это мне больше по душе, — космические вещи меня пугают.

— А вы сделайте и то и другое.

— Придется, — вздохнул Гарт.

Но космические вещи продолжали преследовать Гарта. Левченко рассказал о двух проектах орошения Крыма. По одному проекту предполагалось перегородить узкий Керченский пролив плотиной, чтобы закрыть прилив в Азовское море соленой черноморской воды. Через несколько лет Дон и Кубань превратили бы это море в пресное озеро, а сеть насосных станций и каналов оросила бы азовской водой степной засушливый Крым. Этот проект был отвергнут. Был принят проект, по которому часть вод Днепра по каналам пойдет от Каховки в крымские степи. Но осуществление этого проекта еще не началось.

## ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА

*И, разогнав крутые волны дыма, Забрызганные кровью и в пыли,  
По берегам широкошумным Крыма Мы красные знамена пронесли.*

**Эдуард Багрицкий**

Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы наконец перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко.

Кофе наш остыл. Заведующий рестораном — татарин — уснул за стойкой.

— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно, — рассказывал Левченко. — Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.

Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.

Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.

Тогда Крым был уже отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.

Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает.

Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка.

Каменоломни всегда наводили страх на керчан — в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.

Выходов из подземелий было много. Можно была спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.

Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были катакомбы первых веков христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каменоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один подземный город.

Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.

Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы.

При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.

Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть ми берегли для факелов на случай переходов по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас коптилки.

Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.

Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка.

В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.

Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых от больных. В одной из катакомб мы устроили подземный лазарет.

Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов—худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.

Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовывались сгустки крови — пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову и поэтому смерть ему не страшна.

Звали мы его «Обер-крот». Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы бы заблудились в подземном городе и пропали.

Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игрушечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Назимов больше действовал по приметам и какому-то особому чутью, чем по компасу.



В первое время нам удавалось прорываться на-гора, как говорят шахтеры, налетать на белых и без остатка уничтожать их отряды.

Тогда белые усилили охрану выходов. Начались взрывы. Однажды из «лазарета» к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное.

— Что? — спросил Колдрба.

— Роют, — ответил раненый. — У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему кричат: «Потерпи, не стони, друг дорогой». И он делает уважение и помирает тихо, как слабый ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце, — и ни голоса, ни крика, ни выстрела, — одна эта подземная глухота!

— А что вы слушаете, чего дожидаетесь? — спросил Колдоба.

— Того, чего и ты, командир, — тихо ответил раненый. — Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно...

— Рассказывай! — коротко приказал Колдоба.

— Стало нам слышно, — шепотом сказал раненый, — роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь, я это дело знаю, — белые закладывают бурку и сделают вскорости взрыв.

Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.

Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать в глубь подземелий.

Зажгли факелы и приготовились к переходу, но в это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолка и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.

В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.

Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.

После этого дня взрывы становились все чаще. Мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват. Катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень быстро всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.

Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланскими пропеллерами на самое дно подземелий и травить нас, как мышей.

Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы «обыкновенные» удушливые газы.

Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по несколько человек.

Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелий. Иной раз всех охватывали слуховые галлюцинации: мы ясно слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло появиться избавление.

Мы пришли в отчаяние. Мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать и с неистовым упорством искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.

Наконец такой выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.

Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой весенний воздух разрывал отекавшие от духоты легкие.

К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорогое. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец.

Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.

Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что надеяться не на что — красные части были далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.

Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в заброшенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.

Мы скрылись в новых катакомбах, узких и не таких запутанных, как прежние. Входов в них было мало. Белые оцепили их все до единого.

Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажду. В новых катакомбах не было ни капли воды. Надо было или сдаваться, или умирать.

Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на смерть в бою, но не на расстрелы и пытки.

Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грозы. Партизаны долго ждали ливня, и он наконец разразился.

Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земли и пили, пили до беспамятства, до потери сознания.

Все было наполнено водой — манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.

Но через день воды опять не хватало. Иные из нас жевали намоченные в дождевой воде шинели.

Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галерей. Мы зажгли факелы и бросились в глубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли, — нас отравляли углекислым газом. Белые стали лить в подземелья по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов — веселый и насмешливый человек.

Белые ворвались в противогазах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали его к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.

И вот в эти дни последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел археолог Назимов, наш Обер-крот. Он сказал, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми.

К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него быстро дрожали, как дрожат листья осины даже без ветра.

— Надо проверить, — сказал я. — Ты совсем стал слепой.

— Проверим, — ответил Назимов.

Мы незаметно пошли к выходу. Назимов не доверял своим глазам и шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого входа до нашей стоянки.

Недалеко от входа Назимов сел отдохнуть. Он стал худ до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался.

— Вот, Степан, — сказал он мне, когда мы сели, — Думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?

— Надо полагать, что ты об этом не думал, — ответил я.

Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни.

— Ну, пошли. Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать сухой бурьян или осколок стекла под водой.

— А к чему это? — спросил я.

— А к тому, — ответил он, — что в каждом пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив — тогда поймешь и узнаешь. А сейчас — пошли!

Мы дошли до выхода. Он тянулся под плитой известняка.

Я взглянул из-под плиты и увидел звездное небо.

Мы вылезли. Степь в росе, и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.

— Откуда дым?

Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу со своих ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я — и вдруг с такой ясностью вспомнил свои грязные ладони, полные росы, что никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.

Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили при огне пулемет.

Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.

— Что делать, Обер-кпрт? — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.

— Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас перебьют, как котят.

Голова у Назимова затряслась. Он задумался.

— А что, если мы сделаем так... — сказал он и остановился, — если мы сделаем так... Я открою пулеметный огонь у главного входа, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя, а вы тем-временем выйдете.

— Одному не справиться. Шум нужно делать большой.

— Вызовем охотников.

— Не будет охотников, — ответил я. — Не будет. Безнадежное это дело.

— Посмотрим.

Я не верил в это рискованное предприятие, но Назимов в ответ на мои возражения только молчал.

Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил:

— Есть охотники оставаться со мной?

Бойцы молчали.

— Есть охотники?

Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал хриплым голосом:

— Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше...

Жуков снял шапку и сказал громко:

— Товарищи бойцы, которые трудно раненные! Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем винты и спасем уцелевших товарищей.

— Чего гавкать! Давай патроны! — закричал один из раненых.

Через несколько минут раненые двинулись к главному входу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.

Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного входа начался ураганный огонь и крики «ура».

Смятение охватило белых. Они бросились к главному входу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.

Бой разгорался за нашей спиной. Мы быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.

Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом и они стихли. Разыгранный бой подошел к концу.

Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей. Узнал я это из записок белого офицера.

«Последний отряд партизан, — писал он, — целиком состоял из тяжелораненых. Они дрались, надо отдать им справедливость, с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пули в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными».

Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.

Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Гарта грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Гарт бросил ему кусок белого хлеба. Пес сглотнул его прямо в воздухе, не сморгнув глазом. Послышался звук откупоренной бутылки.

## СКАЗОЧНИК

В Старом Крыму провел последние дни своей жизни и умер писатель Грин — Александр Степанович Гринеvский.

Грин — человек с тяжелой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывают легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего — неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах.

Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина появились первые намеки на приближение его к нашей действительности.

Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин оправдал все, что написал.

Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:

*«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку».*

*«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных итыков».*

*«Зима умерла. Весна толкнула ее голой розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком, в виде мертвенно-белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».*

Грин хорошо выдумывал старинные матросские застольные песни:

Не шуми, океан, не пугай,  
Нас земля напугала давно.  
В южный край —

В светлый рай  
Приплывем все равно!

Он выдумывал и другие песенки — шуточные:

Позвольте вам сказать, сказать,  
Позвольте рассказать,  
Как в бурю паруса вязать,  
Как паруса вязать!  
Позвольте вас на салинг взять,  
Ах, вас на салинг взять,  
И в руки мокрый шкот вам дать,  
Вам шкотик мокрый дать!

В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве, еще свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.

Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном легкой тучей лежали далекие горы.

Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене, — портретом Эдгара По.

Мы не разговаривали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения.

Старый Крым точно сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали простую повесть его смерти.

Этот писатель — бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет — сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать наконец запоздалую радость общения людьми, ради которых он работал.

Но было поздно. Никто не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог провинциальный город.

Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и все время смотрел в горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминали ему любимое и покинутое море.

Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти — жена и ее старуха мать.

Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами — это было все.

Едва заметная тропинка вела к могиле.

Я подумал, что через много лет, когда имя Грина будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придется раздвигать миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти ее серый и спокойный камень.

— Я уверен, — сказал Гарт, когда мы выходили за город на старую почтовую дорогу, — что наше время — самое благодарное из всех эпох в жизни человечества. Если раньше могли быть забытыми мыслители, писатели и поэты, то теперь этого не может быть и не будет. Мы выжимаем ценности прошлого, как виноградный сок, и он превращается в крепкое вино. Этого сока в книгах Грина очень много.

Я согласился с ним.

Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши.

Первая звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.

Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, где была могила Грина. Звезда

блистала прямо над ним.

## НОЧЬ НА ШАЛАНДЕ

В Новороссийске я встретил Денисова. Он зашел со мной в номер гостиницы, где Гарт сидел над рассказом о боре.

Юнге не было. Старик уехал на метеорологическую станцию на Мархотский перевал, к своему другу — метеорологу, известному в Новороссийске под прозвищем «Мархотского узника».

Двадцать лет он просидел на этом перевале, всегда затянутом туманами, и изучал бору. Он пытался найти точные признаки для предсказания бору, но это ему не удавалось. Бора зарождалась с внезапностью взрыва.

Каждый день и каждый час Новороссийск — один из прекраснейших, обширных и глубоких портов Черного моря — мог ждать предательского удара этого неистового ветра.

Денисов работал в Новороссийске по подъему затопленного в 1918 году миноносца. Он предложил мне и Гарту поехать на подъем. Мы тотчас согласились.

Гарт торопился и нервничал. Ему хотелось удрать на подъем до возвращения Юнге. Иначе старик начнет его упрекать за лень и отлынивание от работы.

Мы пошли на пристань. Каково же было мое удивление, когда я увидел «Смелый», изрыгавший, как принято было выражаться в старинных рассказах, клубы черного и жирного дыма.

Баранов радостно приветствовал нас и принял к себе на борт, чтобы доставить к мысу Дооб, где работала судоподъемная партия.

Стоя на мостике, Баранов поглядывал на Мархотский перевал. Там появился косматый туман. Он переползал через гору. Туман этот моряки звали «бородой». Появление его предшествует боре.

Я стоял рядом с Барановым и тоже смотрел на «бороду». Пасмурное небо свалилось на город тяжелой мешаниной туч. Сеялся редкий дождь. Белесое море казалось мертвым. Изредка солнечный свет прорывался сквозь пелену облаков. Он окрашивал зимнюю воду в розовый мутный цвет.

Зима вступила в свои хмурые права. Густой дым клубился над крышами. Весь день горели на улицах высокие фонари, и, как всегда зимой, особенно сильно дымили трубы пароходов и катеров. Изморозь трещала под ногами на каменных молах.

У мыса Дооб мы перешли со «Смелого» на водолазную шаланду. В это время спускали водолаза. Его скафандр еще торчал над водой, как металлический пузырь. Водолаз, увидев меня, начал махать резиновой рукой — и махал ею, пока не скрылся под волнами. Через толстые стекла скафандра я узнал Мухина.

На шаланде нас шумно приветствовал Медлительный. Он сегодня уже спускался на дно, крепить понтоны к миноносцу. Поэтому он жаловался на «невыносимые мурашки в голове».

Денисов объяснил нам способ подъема. Он был прост. К затонувшему кораблю прикреплялись громадные железные ящики или резиновые шары — их называют понтонами. В понтоны накачивался воздух. Понтоны всплывали и подымали корабль.

Этот способ казался простым на словах, на самом же деле был труден и опасен. Понтоны часто срывались. Кроме того, было почти невозможно определить вес поднимаемого корабля, — корабль присасывался к грунту, иногда уходил в него до половины, и все помещения корабля были занесены толстым слоем синего черноморского ила.

После отрыва от дна корабль вылетал на понтонах на поверхность стремительно и бурно, как пробка. Вылет с больших глубин шел не дольше пятнадцати секунд.

Картина подъема производит на новичков впечатление катастрофы. Море кипит крутыми волнами и пеной от вырывающихся из понтонов воздушных струй. Потом

вылетают понтоны и выскакивает корма или нос корабля, покрытые травой, ракушками и крабами.

Иногда, не выдержав удара о воду, стальные тросы лопаются, и корабль опять проваливается на дно. Тогда вся медленная подводная работа начинается сначала.

Мы приехали ко времени подъема миноносца. Водолазы спустились, чтобы проверить последний раз крепление понтонов, но их сейчас же подняли на поверхность. — Разыгрывался шторм. Подъем пришлось отложить.

Мы с Гарттом были в каюте шаланды, когда снаружи послышался звук, очень похожий на удар о железо тяжелого снаряда. Это ударил в палубу первый порыв ветра.

Шаланда подпрыгнула, запела и засвистела всеми частями, как громадная расшатанная флейта.

Мы выскочили наверх и увидели в седой мгле рыжую корму «Смелого», неистово вертевшего винтами. Ветер сорвал со «Смелого» кормовой флаг. Хрипя и взлетая на волнах, буксир исчез в тумане и собственном дыму.

Затем он появился снова. Баранов закричал нам в рупор, чтобы мы приняли буксирный конец, — «Смелый» решил отвести нас в порт. Но ни подать, ни принять буксирный конец не было возможности.

«Смелый» начало заливать. Он, бросив нас, пошел в Новороссийск. Мы остались одни и провели на шаланде весь день и штормовую ночь.

Днем было относительно спокойно, хотя волна и колотила в корму шаланды. Пока можно было оставаться на палубе, мы часто подымались на бак и смотрели на море.

В кипящей мгле метался силуэт океанского парохода. Он стоял носом к ветру и страшно дымил, из последних сил работая машинами. Его выбрасывало из волн до половины корпуса. Тогда в тумане блеснуло днище, покрашенное суриком и покрытое пятнами морской травы. Мы видели, как пароход сбивало на песчаную косу, где сшибались буруны. Пароход нес на мачтах флаги. Денисов, присмотревшись, перевел нам сигнал:

«Машина не выгребает. Терплю бедствие».

К вечеру пароход сел на мель.

К ночи бора дошла до полного и сокрушительного давления. Волны с гулом перекатывались через шаланду. Все не смытое с палубы было убрано внутрь, а люки и иллюминаторы завинчены до отказа.

Мы качались в железной коробке при свете «летучих мышей» и слушали вопли норд-оста и гром воды.

Молодые кочегары волновались. Особенно пугали их рывки якорных цепей. Каждую минуту казалось, что цепи лопнут или будут вырваны из клюзов и шаланду унесет в море.

Сидеть можно было с трудом. Стоять ухитрялись только матерые моряки, вроде Денисова и Медлительного, и то несколько секунд.

Ночью волнами расшатало корму и появилась первая течь. Ее забивали паклей и клиньями.

Чтобы успокоить кочегаров, «старички» — Денисов, Мухин и Медлительный — сели играть в «козла». Гартт присоединился к ним. Эта игра, прерываемая болтовней Медлительного я ударами шторма, продолжалась до рассвета.

Медлительный, кашляя от смеха, рассказывал о шутке, выкинутой водолазами в одном из курортных городов.

Шли работы по подъему затонувшего портового катера. Водолазная шаланда стояла у самого мола.

— Время был летнее, — рассказывал Медлительный, — и вода была совсем теплая — можно сказать, как чай. Один с ваших водолазов, отчаянно веселый парень — Колька Гаврилади, — в одних трусах спустился на дно с воздушной маской и длинным шлангом и подошел до самого края пристани. Стоит себе под водой, дышит тихонько и только где-где

пустит два-три пузырька воздуха. А Мухин, значит, выходит на край пристани, тоже в трусах, и хвалится перед курортной публикой, что нырнет сейчас на десять минут под воду и вынырнет невредимым. Я с им стою рядом и, натурально, клянусь, и божусь, и подтверждаю перед гражданами этот факт. Однако граждане с нас смеются. Тогда Мухин краснеет и ласточкой летит в воду.

Мухин слушал этот рассказ совершенно бесстрастно, попыхивая папиросой.

— Проходит минута, две, три. Промежду граждан, а особенно гражданок, начинается сильное волнение. Четыре, и пять, и шесть минут, а Мухина нет. Я стою и закручиваю сигарку, как полагается, сплевываю и посмеиваюсь. Курортные бледнеют, обзывают меня извергом, хотят уже бежать до капитана порта и требовать помощи Мухину. А я говорю им: «Не было такого факта в истории советского мореплавания, чтобы водолаз потонул от ныряния в страшную морскую глубину, где водятся спруты и иная океанская рыба. Выплывет!»

И вот, действительно, забурлила вода и вылезит на пристань парень в трусах, и публика в диком ужасе шарахается от него, как от бандита.

Мухин — парень высокий, сероглазый и блондин, а выходит из воды Гаврииади — парень небольшой ростом, черный как жук и с южным греческим глазом. Выходит, делает гражданам ручкой и говорит: «Глядите, у кого есть, на часы и подтверждаете, что прошло не меньше как десять минут». Но граждане молчат, как пришибленные пыльным мешком, и только бойкая старушка в очках спрашивает: «Как объяснить такое явление, что нырнул блондин, а вынырнул брюнет, и притом короткий, или, по-вашему, по-моряцкому говоря, — человек на низком ходу?»

А у нас между собой все расписано, и я даю соответствующую пищу ее любопытству. «Разве вы не знаете, — кричу я сердито, — что от давления воды человек сплющивается, волос у него чернеет, а в глазах сгущается кровь, и они делаются как у того индюка?»

Гаврииади показывает мне незаметно кулак, но я, как отчаянный подводный житель, говорю дальше за это дело и упрекаю граждан в неинтеллигентности. Мы уходим с Гаврииади, разыгравши курортных и отдыхающих, идем к себе на шаланду и тихонько вытягиваем с воды Мухина. А он под водой поменялся маской с Гаврииади и стоял на месте, глотал свежий воздух.

— Врешь! — сказал Денисов.

Медлительный сделал страшное яйцо и обернулся к Мухину.

— Петя, — сказал он вкрадчиво, — вот товарищ начальник берет меня за манжеты и не хочет верить старому водолазу. Подтверди, будь другом.

— Было такое дело, — спокойно сказал Мухин, не вынимая изо рта папиросы.

Тогда Денисов захохотал так, что заглушил гудение боры и выжал улыбку на лицах успокоившихся, но еще бледных кочегаров.

Ночь длилась без конца. Качка и грохот не давали уснуть. Рассвет не принес облегчения. Утром лопнула одна из якорных цепей, и шаланду начало носить на последней оставшейся цепи. Денисов в ответ на вопрос, что будет, когда и она оборвется, только махнул рукой и сказал:

— Прости и прощай!

Запасного якоря у нас не было. Около шаланды ныряла на волнах причальная бочка, стоявшая на мертвом якоре. Мухин вылез на палубу, вцепился в поручни и присел. Шаланду то подносило к бочке, то уносило ветром далеко от нее по широкой дуге.

— Давай трос! — крикнул Мухин.

Ему подали трос, и он, выждав минуту, перескочил на бочку, быстро продел трос в кольцо и лег. Волна накрыла его.

Мы были уверены, что Мухина смыло, но волна прошла, и мы увидели, что он судорожно крепит трос за кольцо. Шаланду далеко отшвырнуло, потом снова пододвинуло к бочке. Мухин перескочил обратно на палубу.



Шаланда опять стояла на двух якорях. Опасность миновала.

Мухин спустился вниз, переделся, взял гавайскую гитару, — вдвоем с Денисовым они затагнули южную песенку:

Прощайте, родимые воды,  
Прощай, Ланжерон и маяк, —  
По случаю справной погоды  
Уходит на ловлю рыбак.

Рыдает на моле Маруся,  
И чайки стрекочут над ней,  
Я скоро в Одессу вернуся,  
А ты меня жди и жалеи!

— Вот какой мы народ! — кричал Гарту Медлительный. — Бесстрашный народ. Нам и жить и помирать — все с музыкой!

— Заткнись! — сказал Денисов.

Медлительный плюнул и смолк.

К вечеру ветер стих. Волны перестали бить в корму с прежней яростью. Густой дым возвестил нам о приближении «Смелого». Баранов взял нас на буксир и потащил в порт.

От команды «Смелого» мы узнали последние новости. На скалы выбросило два парохода. Теплоход «Аджаристан» прошел мимо порта. В городе сорвало много крыш, а бак для нефти весом в сто тысяч пудов сплющило ветром, как будто он был восковой. Это происшествие особенно веселило матросов.

Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. Рябили лужи, и качались фонари. Рваные снасти хлестали по ветру. Даже в номере гостиницы, освещенном лампой с зеленым абажуром, были видны следы недавней бури — пыль веерами лежала на столе около окон, рама была вдавлена внутрь, и за ней наискось торчала сорванная ветром водосточная труба.

Юнге встретил нас насмешливым молчанием. Потом он прорвался, обозвал нас мальчишками и обвинил в том, что из-за нас у него прибавилось седины в голове.

Чтобы успокоить Юнге, Гарт показал ему рукопись почти оконченного рассказа.

Проект прорытия туннелей под хребтом Варада получил как в рассказе Гарта, так и в выкладках, сделанных Юнге, свое первое выражение.

Теперь, по словам Юнге, оставалось только добиться его осуществления, что у нас, в Советском Союзе, было делом вполне возможным и никак не фантастическим.

## САМОУБИЙСТВО КОРАБЛЕЙ

Пока Гарт заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова.

Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменами цвета морской воды. Снова, как и во время рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров.

Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назначение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее «морочением головы и фокусами».

Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки.

Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых моряков, привлеченных; к этому спору.

Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным.

Он вспомнил тысяча девятьсот восемнадцатый год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз немцы решили сначала передать флот «украинской державе».

Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию.

Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли «прекратить говорильню», но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал «бросить пустую болтовню» и сорванным голосом кричал в исторических приказах:

«Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно сложа руки смотреть, как враг движется по нашей земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!»

Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и, головокружения, решая судьбу флота.

И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев.

Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они — прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к «украинской державе». Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский.

Команды миноносцев — стремительных и поворотливых кораблей — требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови.

Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы дать немцам бой.

Но это было уже невозможно. Красногвардейские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий. Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались — с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю.

Гетманская организация «Рада черноморской украинской громады» требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желто-голубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников, что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги.

И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте «Воля» создали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на «Воле», надрываясь, кричали ораторы.

Команды дредноутов решили поднять немедленно украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с «Воли», собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать Своих кораблей немцам, не допустить, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увести их в Новороссийск.

На следующий день, двадцать девятого апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы: «Позор и продажа флота!»

На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на тридцатое апреля.

Команды дредноутов «Воля» и «Свободная Россия» подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий.

На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку.

В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно.

Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. Двадцать девятого апреля на кораблях и на берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команды, угроз, проклятий, свист пара и грохот лебедок.#

К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря.

Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из севастопольских бухт и выходить в море.

К двум часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в Северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты.

На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать. Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны и вместо них подняты красные. Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного увода кораблей в Новороссийск.

Немецкие разьезды появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем.

В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на Северной стороне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море.

Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда.

Команды двух миноносцев — «Гневного» и «Заветного», не успевших проскочить под обстрелом, открыли кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте.

Черноморский флот ушел в Новороссийск — последний в то время оплот Советской власти на берегах Черного моря.

Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов.

Начались бурные и скомканые, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани.

Новороссийск был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшимися здесь со всего Черного моря, красногвардейцами, военными моряками, пленными офицерами, сыпнотифозными и бандитами.

Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней.

Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сноситься только по радио через несколько промежуточных станций, но этот способ был ненадежен.

Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику.

Наконец пришел секретный телеграфный приказ из Москвы — ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске.

Саблин сбежал, передав командование капитану Тихменеву.

Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи:

«Безвыходность положения побудила Председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина согласиться с необходимостью немедленного уничтожения флота».

«Совет Народных Комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске.

Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет».

«Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен».

Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыгрывал протест и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет Народных Комиссаров.

Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флот был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить.

В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование.

Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда, часть — за потопление флота, и небольшая часть — за уход в Севастополь.

Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день — семнадцатое июня.

Командир миноносца «Керчь» лейтенант Кукель отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить «Керчь», выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться.

«Керчь» подняла на мачте сигнал: «Судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам Родины».

Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к «Керчи».

Тихменев на «Воле» ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель.

— В ночь на восемнадцатое июня мы, — рассказывал Баранов, — потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах.

Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и грузили в вагоны.

Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятья неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны.

Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их топить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов.

Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем.

Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал — величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот.

Миноносец «Лейтенант Шестаков» начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд, в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет. Солнце еще не взошло над хребтом Варада.

Каждый из обреченных на гибель кораблей нес на рее сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Когда на буксире тронулся с места дредноут «Свободная Россия» с красным флагом на

стенге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие. Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки.

Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему оставшемуся у пристани миноносцу «Фидониси» и гроздьями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти.

Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промеления могла все погубить — в Новороссийске могла появиться немецкая эскадра.

Миноносец «Керчь» подошел полным ходом к «Фидониси», и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы.

Толпа отхлынула, и «Керчь» вывела из гавани «Фидониси» — последний из миноносцев погибавшей эскадры.

Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было около четырех часов дня.

«Керчь» развернулась и стала бортом к «Фидониси». Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина шурша понеслась с «Керчи» и ударила в борт «Фидониси».

Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков.

Вслед за «Фидониси» началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины.

Через полчаса весь флот, кроме дредноута «Свободная Россия», лежал на дне Новороссийской бухты.

Тогда «Керчь» подошла к «Свободной России». Это было около Дообского маяка.

Миноносец пускал мину за миной в дредноут, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом.

Когда дым рассеялся, команда «Керчи» увидела дредноут, пробитый насквозь.

Броневые гагаты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт.

Люди на «Керчи», обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля.

Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия.

Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта, с невыносимым скрежетом они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около тысячи тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах.

Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.

Дредноут лёг вверх килем и медленно пошел на дно. На «Керчи» люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетающие из воды, и плакали.

Трудно понять неморяку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга.

«Керчь» ушла в Туапсе и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио:

«Всем. Погиб, уничтожив суда Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец «Керчь».

Баранов был на «Керчи» во время последнего рейса в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко:

— Погребальный был рейс.

Через двенадцать часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый, пустой порт.

## **ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА**

Из Новороссийска Гарт, Юнге и я вернулись на «Смелом» в Севастополь. В Севастополе мы застали Зою.

Сметанина сообщила нам радостную новость: дед Дымченко получил грамоту от правительства и звание «Почетного моряка Черноморского флота».

Мы решили поехать к Дымченко и поздравить его с высокой наградой.

Мы накупили вина, фруктов, всяческих закусок и погрузили все это в ялик. Сметанина везла деду в подарок его собственный портрет, Гарт — жестянку английского трубочного табака, Юнге — новый барометр, Зоя — семена разных цветов, Баранов — бутылку шампанского, а я — набор рыболовных крючков и шелковые плетеные лески.

Яличники наперебой зазывали нас в своя шлюпки. Каждому было лестно и любопытно переправить на Северную сторону это богатое пиршество, запакованное в кульки и берестяные коробки.

Награждением деда гордилась вся Северная сторона. Поэтому еще у пристани пришлось раскупорить бутылку и угостить старых перевозчиков — друзей и почитателей Дымченко.

— Золотой старик! — кричали одни, обсасывая усы и вытирая их заскорузлыми ладонями. — Не старик, а чистое дите. С таким старым легче добиться социализму, чем с другим каким молодым балбесом!

— Справный рыбак! — кричали другие. — Привычка у него до моря настоящая. Он море сквозь знает. Революцию вытянул на собственном горбу.

На Северной мы высадились перед вечером.

Пока Баранов и Гарт выгружали из шлюпки провиант, я смотрел на бухту.

В небе висела далекая, только что родившаяся луна. На высоте в тусклой синеве воздуха чувствовалось присутствие иссякающего солнечного света. В противоположность небу, вода была взволнованной и живой. В ней плескались огни кораблей, предместий, мигалок и катеров. Они казались маленькими хлопьями светящейся пены. Они разгорались все ярче по мере того, как незаметно темнели берега.

К деду мы пришли уже в темноте. Старик растерялся и расплакался, как ребенок, от множества подарков. Он положил трясущуюся руку на плечо Сметаниной, что-то хотел сказать, но потом крякнул, отвернулся и сердито пробормотал:

— Ну ладно, потом скажу!

Пришел Андрей. Он восхищался подарками и осторожно гладил их шершавыми ладонями. Особенно ему понравился портрет Дымченко.

— Ты гляди, Петро! — кричал он. — Это же не вещь, а небесная красота! Какая работа! Одна чистота и опрятность!

Накрыли стол. Шампанское тихо шипело в старых треснувших стаканах. Дым трубочного табака смешивался с запахом ржаного хлеба.

Рыжик сидел у порога и смотрел на нас желтыми от зависти глазами. Хвост его подымал легкую пыль.

Дымченко постучал стаканом о стол. Мы затихли.

— Хочу я вам сказать, друзья, за наше море.

Он долго молчал, опустив голову.

— Да что тут балакать! Хорошее море!

— Хорошо быть почетным моряком такого хорошего моря, — сказал Баранов. — Выпьем, дед, и помиримся.

— Да я на тебя не серчал. — Дымченко заулыбался и искоса посмотрел на Баранова. — Вся Северная знает, что ты отчаянный моряк. Мы, морячки, все одно как свойственники промеж себя. Нам друг на друга сердиться не вежливо. А теперь послухай, что я скажу.

Вот подарил меня, старого, правительство великой наградой. Пошел я сегодня утром до Сухой балки, через степь, — ловить рыбу. Шкандыбаю и думаю свою думу про близкую смерть. И от той думки жизнь мне кажется веселей, а умирать не страшно. Только жалко, что

мало я той, сегодняшней жизни повидал.

Иду, тащу кошелку, и пруты. И подходит до меня молодой красавец — матрос береговой обороны, берет кошелку и пруты и говорит: «Давайте, товарищ Дымченко, я вам подмогну. Вы старенький, вам нести неловко». — «Как так, говорю, ты будешь со мной тратиться, когда сегодня на батарее работа? За это командир посадит тебя под арест на трое суток». Он смеется: «Ничего, говорит, я скажу, что задержался из-за вас, из-за почетного моряка нашего флота. И ничего мне не будет». — «Верно?» — спрашиваю. «А как же, — говорит тот матросик. — Теперь, дедушка, не царские времена». Так он меня и довел до места. Прямо — родной сын. И после того, как распрощался я с ним, та награда из Москвы сделалась мне в сотни раз милей. Вот я и говорю — надо выпить того вина за старое наше море да за молодых морячков. А я с вами пригублю. Мне пить не годится — сердце у меня болит и болит, — должно, болезнь какая прилипла.

Мы выпили за родное море и моряков.

Гарт предложил мне и Сметаниной выпить за последние два месяца нашей жизни. Самое важное в этих двух месяцах, по словам Гарта, было то, что ничего не случилось и вместе с тем случилось многое.

— Что? — спросила Сметанина.

— Случилась настоящая жизнь, — ответил Гарт, — хотя и не было никаких событий.

Ушли мы поздно. Гудок парохода прорезал ночь и торжественным эхом прокатился над степью. Это уходил во Владивосток «Аян», уходил к далеким океаническим берегам Советского Союза. Он нес сквозь ночь груды огней и волочил за кормой шумящую пену.

— Что же вы ничего не сказали? — спросил я Сметанину, когда мы шли к пристани по степной дороге, освещенной низкими звездами.

— Не решилась, — ответила она, — Я хотела сказать примерно то же, что Гарт. Ничего не случилось, но я знаю, что каждый день был наполнен умом, силой, человеческой теплотой, дружбой — всем тем, что мы называем самым прекрасным в мире. Я выросла за эти два месяца и вместе с тем помолодела на несколько лет. Я не знаю, как назвать это чувство. Кажется, это называется счастьем.

С моря дул свежий ветер. Плеск волн в бухтах был похож на сдержанный смех.